

современная

зарубежная

новелла

\* М. Коссио Вудворд



# ЗЕМЛЯ САХАРНАЯ

Цена 40 коп.





В серии «Современная  
зарубежная повесть»

*Вышли в свет:*

Ж. К. Пирес. Гость  
Иова (Португалия)

П. Себерг. Пастыри  
(Дания)

В. Кубацкий. Груст-  
ная Венеция (Польша)

Р. Клысь. Какаду  
(Польша)

Э. Галгоци. На  
полпути (Венгрия)

Ф. Бебей. Сын Ага-  
ты Модии (Камерун)

*Готовится к печати:*

Я. Сигурдардот-  
тир. Песнь одного дня.  
В петле (Исландия)

Т. Стиген. На пути  
к границе (Норвегия)

*M. Cossio Woodward*  
**SACCHARIO**

La Habana, Cuba

$\frac{7-3-4}{71-74}$

© Перевод на русский язык  
«Прогресс», 1974

*М.Коссио Вудворд*

# **ЗЕМЛЯ САХАРИЯ**

*Перевод с испанского*



Издательство «Прогресс»  
Москва 1974

Перевод *Р. Сашиной*  
Предисловие *В. Земскова*  
Редактор *В. Кузнецов*

## БИТВА ЗА САХАР

На плантациях сахарного тростника современной Кубы все чаще можно услышать рокот моторов — это не только погрузочные машины, но и уборочные комбайны. И все же мачете, нож-тесак, неперенное оружие повстанцев, сражавшихся с испанскими колонизаторами в XIX веке, и символ преемственности освободительной борьбы в нашем столетии, до сих пор остается главным оружием в битве за сахар, которую ведут герои романа Коссио Вудворда.

Коссио Вудворд (род. в 1938 г.) — новое имя в кубинской прозе, возникшее вне профессионального писательского круга. Сотрудник Центральной хунты планирования неожиданно для всех в 1970 году на литературном конкурсе «Дома Америк» завоевал премию по жанру романа... Книги тех, кто вынашивает своих героев не за письменным столом, часто обладают одним существенным достоинством — какой-то неподдельной жизненной шероховатостью, незаглаженностью. Читатель ощутит это и у Коссио Вудворда, который рассказал о своем опыте жизни с вызывающей доверие запальчивостью, на сбивающемся дыхании.

Несомненно, автор хорошо знает, что такое сафра — уборка сахарного тростника, — так же как это узнали в годы после победы революции многие десятки тысяч горожан-добровольцев, ежегодно оставляющих свои повседневные дела, чтобы принять участие в этом всенародной важности деле.

Каждый день героев Коссио Вудворда выходят на поле, каждый один на один с тростником. Где-то на

меже — кувшин с быстро нагревающейся под солнцем водой, в правой руке — мачете, на левой — рукавица, предохраняющая от порезов. Взмах — стебель рубится под корень, еще взмах — срубается верхушка, еще взмах — мясистый, полный сладкой влаги ствол летит в кучу. Быстрее всего устает поясница. Кажется, поработал целый день, но нет, солнце еще низко, тростник выше человеческого роста обступает со всех сторон, и не видно ему конца... Так ощущают себя на работе горожане Дарно или, например, Пако. Уборка сахарного тростника — труд нелегкий, как нелегко любой крестьянский труд. Папаша, негр-весельчак, лукавый выдумщик небылиц, рубит тростник не первый десяток лет, и движения его легки и изящны. Впрочем, все они самые рядовые участники сафры. По радио добровольцы узнают о результатах лучших бригад страны, им удастся рубить в день гораздо меньше. В этой обычности — один из писательских «умыслов». Обычный день на сафре, обычные добровольцы, обычный тростник, окружающий лагерь. Это обыденность Кубы, как обыденность нашей страны, скажем, уборка хлеба.

Русскому слуху привычны образы песен безымянных и известных поэтов, сравнивающих родину с просторами волнующейся под ветром ржи. Жизнь кубинского народа на протяжении столетий связана с сахарным тростником. Говорить о нем — значит говорить о народной душе.

Известный кубинский художник Вильфред Лам написал картину «Джунгли», которую можно встретить во всех каталогах современной живописи. На Кубе нет джунглей, ее джунгли — это сахарный тростник, бесконечное, как у Лама, переплетение стеблей, сухое шуршание листьев, зной, миражи, сладкая мгла, где взгляд художника различает очертания смуглых богов тропиков. Папаша чудится Дарно во сне одним из них: повинаясь взмаху руки, стремительно растет вверх тростник, с которым он, изнемогая, борется.

Очевидно, по-разному можно было описать рубку сахарного тростника, ну, например, как трудную, но заурядную работу. Космо Вудворд копнул глубже — тростник стал тоже действующим лицом. С ним разговаривают, его ругают, умоляют, проклинают, ласкают, тростник дает силы, питая своим соком. Писатель как бы олицетворял тростник, без которого немыслима

Куба. Тростник, с которым отношения у кубинцев сложны, как сложны всегда отношения человека с самим собой. Это о нем кубинский поэт Синтио Витьер сказал: «Боль рожающей матери, что выбрасывает нас на стерню под звездами».

Коссио Вудворд обильно цитирует ученых, исследовавших развитие сахарного производства на Кубе. В подобном приеме есть своя логика, ибо сахар был и остается одним из важнейших факторов истории страны.

Земля Кубы оказалась исключительно благоприятной для древней культуры, сложными путями попавшей сюда в начале XVI века вместе с конкистадорами Диего Веласкеса. Испанцы поняли это очень быстро. Более 300 лет невольничьи корабли бороздили Атлантический океан между западным побережьем Африки и карибскими островами, свозя сюда — взамен истребленных индейцев таино, сибонеев и карибов — негров, наследников древней культуры йоруба, конго, араара, карабали, для нечеловеческого труда на плантациях, сахарных заводах. Так сахар во многом определил лицо молодого народа, характер его культуры, складывавшейся в ходе смешения европейских и негритянских переселенцев. Чтобы расчистить путь тростнику, свели на нет великолепные леса по всей равнине от восточных хребтов Сьерра-Маэстры до западных гор провинции Пинар-дель-Рио. Так сахар преобразил ландшафт страны. Интересы сахарного производства определяли места строительства заводов, населенных пунктов, портов, дорог. Так сахар начертил экономическую географию острова. Конечно, это произошло не сразу. В XVI веке Куба производила около 3 тонн сахара в год, в середине XVII столетия — около 500 тонн в год, к рубежу следующего века — 1 млн. тонн, в нашем столетии эта цифра не опускалась ниже 2—3 млн. тонн. Куба стала «страной Сахарией», крупнейшим в мире производителем ценного продукта, а сахар превратился в то, что экономисты называют монокультурой. Источник богатств страны в условиях господства американских толстосумов, сменивших испанских колонизаторов, он стал в то же время ее бедствием, петлей-удавкой. На острове производился главным образом сырец, заводы по рафинированию находились в США — основном скупщике и потребителе кубинского сахара. Система квот, введенная Соединенными Штатами, стала

средством закабаления, политического шантажа: неспокойно было на острове, квота могла быть снижена, а то и вовсе отменена, а это ставило страну на грань катастрофы, оставляло незанятыми рубщиков тростника, которые большую часть года вынуждены жить на то, что зарабатывают за 2—4 месяца в период сафры. Именно так США попытались удушить кубинскую революцию 1959 года.

Однако для героев романа это уже далекое прошлое, не столько хронологически, сколько в силу необратимости осуществленных революцией преобразований. В памяти Дарио, осмысливающего путь, который привел его сюда, на поля сахарного тростника, возникают некоторые ее эпизоды: хмельная радость первых лет победы, организация отрядов народной милиции, Плайя-Хирон, суровое испытание карибским кризисом 1962 года, когда над страной нависла угроза американской интервенции, не менее суровое испытание в схватке с ураганом «Флора», обрушившимся на остров на следующий год, сложные задачи организации нового общества...

Проблема сахара заняла немалое место в новой Кубе. Читатель обратит внимание на то, что отношение героев к сахарному тростнику непростое, несентиментальное, а порой, может быть, даже ожесточенное. Это не просто ожесточение от тяжелой работы. Прошлое оставило свой след в их памяти: тростник всегда был для кубинцев не только знакомым с детства пейзажем, благом, но и одним из несчастий страны, символом отсталости. Характерная нота проскальзывает в разговорах героев: «Как же так? Социализм и снова тростник? Люди в космосе и снова тростник?» Это следы романтических настроений первых лет строительства социализма, когда казалось возможным одним махом изменить веками складывавшуюся структуру хозяйства. Народная власть много сделала для диверсификации экономики, появился целый ряд новых отраслей промышленности, модернизированы старые, но сахар остался основой всего хозяйства. Тесное сотрудничество и помощь, которые были оказаны Кубе Советским Союзом и другими социалистическими странами, гарантировали постоянные рынки сбыта этого традиционного товара на льготных условиях, сделали его источником подъема всей экономики...

И вот Дарио здесь, на знойном поле, с мачете в руках, один на один с тростником. Обычное дело? На протяжении нескольких страниц читатель остается наедине с героями, словно вне рамок времени. Идет извечная борьба за «хлеб насущный». Обычное дело кубинца. Но время вполне конкретно: провинция Камагуэй, 1965 год, Пятая народная сафра. О нем сигналият вспыхивающие искрами слова «товарищ», «революция», «добро-волец». Перед читателем проходит один, и не из самых трудных дней сафры — воскресенье, когда работают только до полудня. Впереди — обед и отдых до следующего утра. Но это-то утро воскресного дня, наверное, самое трудное. Выдержать, выстоять — это не просто превзойти предел своих физических сил. Это нечто большее. Пафос сражения с тростником — пафос нового труда, труда, требующего напряжения всех душевных сил, нового рождения души.

Человек и труд, новый человек и новый труд. Коссио Вудворд пришел к читателю почти нехоженым путем кубинской литературы, которая едва ли не впервые в крупной прозаической форме обращается к теме, с непреложностью решаемой в те или иные сроки искусством стран социализма. Главное писателю удалось. Ему удалось передать дыхание революции, которая подымает человека над обыденностью, закаляет и оттачивает его характер, ставит, пусть в малых в сравнении с ее размахом победах над собой, вровень со всеми ее участниками.

Перо романиста — словно чуткая стрелка аппарата, записывающего кривую напряженно работающего сердца. Короткие, рубленые фразы — верно угаданный ритм откровенных разговоров, монологов в ритм взмаху рубящей руки.

Картины труда — наиболее сильные эпизоды романа. Слабее его «аналитическая» часть, где автор показывает динамику «воспитания чувств» лирического героя романа Дарио, становление его характера в годы после победы революции. Не всегда писателю удается удержаться на той грани, что отделяет художественное творчество от публицистики. Но думается, слабости романа не чисто индивидуального свойства. Поэт Роберто Фернандес Ретамар нашел точные слова, которые могут объяснить издержки в изображении становления нового человека, рождаемого социалистической

революцией, не только в творчестве кубинского писателя: «Веками, тысячелетиями наш голос привыкал к песне одиночества, нищеты и всеотрицания, и лишь совсем недавно мы стали учиться говорить жизни «да». Учиться говорить новой жизни «да», учиться понимать и изображать ее — это тоже часть всей трудной работы по созданию новой жизни. Жаркое поле литературы требует той же энергии и самоотверженности, что свойственны героям Коссио Вудворда.

Чтобы понять значение, которое имеет для них очищающая сила яростного труда, надо вчитаться в те строки, где саркастически воссоздано обличье дореволюционной Кубы, страны исключительно богатой и нищей, страны игорных домов и убогих хижин, страны, душу которой пытались развратить те, кто создал ее рекламную маску: тростник, ром, крокодилы, мулатки, мараки, бонго...

Неровному, сбивчивому ритму картин труда добровольцев писатель противопоставляет статику прошлой жизни героев, «когда время было мертво, а они были мертвы для времени». Тлетворный запах разложения бродит над кварталами Гаваны. Им пропитана обкраденная юность Дарио. Мир лжеценностей, подсовывающий подростку в качестве эталона героев комиксов, без труда расправляющихся с «красными агентами», а в качестве идеала — жизнь обитателей пригородных особняков. «Кубинец — особое существо, буйный, темпераментный прожигатель жизни, развращенный щеголь и хвостун, который не любит учиться и живет в долг, кое-как... и чтоб я сдох, если возьмусь за работу, будь она проклята!» — эту гнусную личину пытались надеть на кубинцев те, для кого Гавана была битком набита ночными заведениями, те, кто хотел бы вытравить у народа чувство национального достоинства и чести. Это прошлое уходит с каждым ударом мачете все дальше.

У каждого из них был свой путь на это поле сахарного тростника, прошлое у всех — одно. Коссио Вудворд мастерски рисует его. Здесь много точных примет, примет, которых не выдумаешь, печального опыта сердца... Принято считать, что кубинцы — народ веселый. Не просто веселый — ироничный. «Соль земли сахара» — «чотео», знаменитая гаванская прония, которой посвящены специальные работы психологов и социологов. Ее дух веет на страницах романа. Писателю удалось на-

щупать пласт, давший верные средства для изображения народной жизни. Это городской фольклор, иронические песенки гуарачи, анекдоты, истории: желчь и улыбка людей, блуждающих в каменных дебрях столицы, где все разделено на «для богатых и для бедных», «для белых и для черных». Блестки народного смеха рассыпаны во многих лаконичных зарисовках.

Ирония анекдотов — плод коллективного опыта. Ее жало обращено и против условий жизни, и против того, кто иронизирует, ибо он ее участник. Когда иронию порождает условия, неодолимые для человека, она становится самоуничтожающей язвительностью. Жизнь в стране фиктивного суверенитета, подлинное лицо которой скрыто маской, давала немало поводов для такого творчества. Отголоски горького смеха Гильена 30-х годов, когда им была написана поэма «Вест-Индская компания», звучат в воспоминаниях героев романа.

Но смех, как известно, это иная ипостась гнева. Критика словом перешла на Кубе в «критику оружием». Революция 1959 года привлекла внимание всего мира именно глубоко народным своим содержанием. Ее породила та сила народного гнева, что копилась десятилетиями. Умение смехом анализировать жизнь осталось, оно присуще тем, кто рубит сахарный тростник. Прошрое видится им особенно отчетливо именно здесь.

Пот, заливающий глаза добровольцев, промывает их. Чего же главного не было в той жизни? Именно такого труда, труда, объединяющего, а не разъединяющего людей, труда не для себя («...чтоб я сдох, если возьмусь за работу!»), а «во имя».

Новая нравственность, новый труд, новые отношения между людьми. То тут, то там на страницах романа в неожиданных переключках возникает еще одна тема: великое и малое. Гуарапо. липкий сок сахарного тростника, течет по подбородку Папаши. Так, наверное, он тек по скулам великого полководца Александра Македонского. Юношеская любовь Дарио вполне сопоставима с силой чувств того, другого Дарио, «беспутного гения» Рубена, выдающегося никарагуанского лирика, обновившего испаноязычную поэзию. Рубчики тростника соизмеряют свой труд с трудом космонавтов. Великое и малое. Конечно же, содержание и значение труда разное. Но вполне соизмеримы меры энергии, страсти, душевных сил, которые отдают те,

кто открывает космос Вселенной, и те, кто открывает «космос» новой жизни.

Премия за роман была присуждена К. Вудворду в 1970 году, в год самой большой в истории Кубы сафры — 8,5 млн. тонн! Многие из ее участников, очевидно, могли узнать себя в его героях, сопоставить свой опыт с опытом писателя. Коссио Вудворд поднял тему капитальной важности для кубинцев — люди и сахар, — вдвойне важную, ибо речь идет о новых людях и новом сахаре. Да, новом сахаре, потому что, преобразуя социальные отношения, человек изменяет и смысл вещей и явлений, сопровождающих его жизнь. В битве с тростником иными становятся герои романа, иным становится вкус горького в прошлом сахара.

*Вал. Земсков*

*Иностранец смотрел на Дарио недоверчиво.*

— *И все-таки, почему вы оказались здесь, на рубке тростника? — спросил он.*

— *Я вам уже говорил! — с досадой воскликнул Дарио. — Неужели непонятно?*

— *Не совсем. Вы скажите по-честному.*

— *Я и сказал: я здесь по своей воле.*

*Иностранец пожал плечами, засмеялся. Дарио понял: этого типа не убедить.*

— *Ну, хорошо. Давайте рассмотрим вопрос с другой точки зрения, по-деловому. Вы рубите тростник, хотя никто вас не заставляет. Так?*

— *Точно.*

— *Ну а что вы надеетесь получить за это?*

— *Получить? За что?*

— *За свою работу... добровольную, конечно.*

— *Ничего. Еще не хватало!*

*Иностранец удивленно поднял брови. Молчание затянулось, слышно было лишь, как нервно постукивал по компасу его карандаш.*

— *Вы не поняли? Я не получаю ничего, — еще раз повторил Дарио.*

— *Вы хотите сказать, что вам не платят?*

— *За рубку тростника — нет.*

— *И ничего не получаете за ваш труд?*

— *Нет.*

— *Но как-нибудь все же поощряют?*

— *Тем, кто хорошо работает, дают иногда отпуск на несколько дней.*

— Ну вот! — Он снова недоверчиво улыбнулся. — А вы, конечно, работаете лучше всех!

— Нет.

— Ну значит, у вас есть какой-нибудь приятель, знакомый, который вам помогает так или иначе? Вас как-то вознаграждают?

— Нет.

Приезжий достал из чемоданчика толстый разговорник. Торопливо листая страницы, он то и дело слюнул пальцы розовым, юрким, как у ящерицы, языком.

— Вы меня поняли? Я говорю: вознаграждение. Премия.

— Да, да, премия. Плата. Вознаграждение.

— Именно. И никто из вас ничего не получает за рубку тростника?

— Никто.

— Вот и разберись тут! Вы в самом деле непонятные люди. Как называется это место? Где мы сейчас находимся?

— Камагуэй, Куба.

Иностранец задумался. Все это так странно, непривычно...

— Что такое Куба, вы знаете, да? — спросил Дарио.

— Куба? Конечно, конечно. Остров... как это говорится? Малоразвитая страна. Рубят этот самый тростник, вручную. Как вы, Дарио. Атомной бомбы нет, в космос не летают... Ну-ну, извините. Я, кажется, кое-что понял.

— А вы? Откуда вы?

Приезжий вытянул руку.

— Оттуда, — сказал он.

Но он мог бы указать куда угодно, назвать любую страну. Он был человеком из другого мира.

**УТРО**

В средние века четкий звон колокола соседнего монастыря подчинял себе размеренное течение жизни человека. Потом колокол отбивал склянки на кораблях, искавших путь в Индию. В Америке впервые колокол стал отмерять часы труда: подчиняясь его звону, тянулась на плантацию новая смена. И тот же колокол 10 октября 1868 года на плантации Ла Демахагуа бил тревогу, сзывая на бой за свободу кубинских крестьян. Но колокол разбили, его сменил гудок, сначала паровой, потом электрический. И до последних дней скликал он рабочих оглушающим свистом, будто чудовищный стальной надсмотрщик.

Фернандо Ортис, *Табак и сахар соперничают на Кубе*, Гавана, 1940.



Пронзительный свисток. В бараке спят тяжелым, непробудным сном. Скорчились. Свернулись в своих гамаках. Храпят. Спят. Мавр показывает фокусы. Папаша шагает по полю. Тростник вокруг Папаши колыхается, растет прямо на глазах. Старик счастлив. На нем длинный балахон, как у того колдуна — взмахнет рукавами, и тростник начинает расти. Растет, качается, звенит... Вот так музыка! Пусть, пусть растет до самой луны. А ну-ка, выше, выше, еще! Нет, пора его остановить, — решает Дарио. — Попробую. Не пройдет, тростник стоит стеной. Высокий — с небоскреб. А в стороне сидит Певец, играет на гитаре. Надо его позвать. Эй, помощи-ка мне! Но Певец не слышит. Поет. «Из камня будет нам постель...» Нет, кажется, это не Певец, это тот мексиканец. Хорхе Негрете. А тростник все растет, все растет. Я рублю, рублю. Надо прорубить просеку, будет светлее. За мной идут Пако и Фигаро. Мы продвигаемся с трудом. Пот льет по нашим лицам. Фигаро точит свою бритву о стебель тростника. Сейчас примется за дело. Надо прорубить просеку, скоро

придет смена. «Горь все огнем!» — вопит Фигаро. Два быка тащат повозку. А тростник растет, огромные стебли валятся один на другой, свиваются в гигантскую завесу, заслоняют солнце. «Зато теперь мы в тени», — говорит Пако и засыпает. Остальные тоже улеглись спать. Стемнело. Темнота и запах тростникового сока. Удушьящая жара. Наверное, я запутался в сетке от москитов. «Из камня будет нам постель, и камень в головах...» Певец на сцене театра имени Мельи. В черном костюме. Нет. Это не Певец, а тот чокнутый парень, что бродил с гитарой по Старой Гаване из бара в бар. Он стал потом знаменитым. Надо потерпеть, скоро придет смена. Четыре танка, переоборудованные в комбайны. Все за мачет! Но никто не встает. «Расти, расти, тростник, — кричит Папаша, — давай, давай, выше, выше, выше, до самой луны!» Земля качается. Землетрясение. Пако хочет залезть в ракету. Да нет, это не ракета, это шар, красный шар, он все раздувается, раздувается, закрывает просеку. Маэстро, музыку! Корнет, дуди во всю мочь! Мойсес дует в свой саксофон. Нет, это не саксофон. Это полицейская машина едет, сирена воеет. Бежим, говорю тебе! Свисток — прямо в уши. Холодно. Закутать бы ноги в одеяло, повернуться на другой бок, осторожно, чтоб не вывалиться из гамака. Сон, не уходи! Туман. Крики. Ноги замерзли. Москитная сетка, одеяло, чья-то голова, рука, гамаки качаются. Сквозняк. Свисток. Это Арсенио свистит. Еще не рассветло. Ледяной ветер врывается через щели, через кровлю из пальмовых листьев. Вставай! Вставай-ай! Вставай-а-а-ай!

Дарио открывает глаза. Оглядывается. Гамаки. Люди. Товарищи. Дарио потягивается. Руки совсем занемели. А ладони все в волдырях. «Ты на них помочишься», — посоветовал Папаша. Дарио не может согнуть пальцы. Распухли. Спать хочется. Спина болит.словно тебя избили. И поясница. И все суставы. Судорога сводит руку. Если б выпасться! Возьму и скажу, что у меня жар. Или печень болит, сердце, что-нибудь. Тяжелая болезнь — это не шутки. И тогда можно будет послать к чертям Арсенио с его свистком. Он-то останется на кухне. А нам идти на работу. Такой холод. Страшно выйти из барака. И все тело болит. Нос зало-

жило — не продохнуть. Саднит в горле. Болят руки, плечи, живот, ноги. Особенно — ноги. Надо встать. Надо взять себя в руки. Сбросить куртку, положенную поверх красного одеяла. Поднять москитную сетку. Нет, ни за что на свете! Вот буду лежать, и все тут! Вставай, мачетеро! Поднимайся. Ох, еще бы поспать! Ну, бодрей! Чувствуешь себя еще более усталым, чем вечером, когда ложился. Надо взять себя в руки. Надеть рубашку (а она вся черная от копоти). Взять синие штаны, встряхнуть — не забрался ли скорпион. Тараканы бегают по ногам, щекочут своими тонкими лапками. По всему бараку, куда ни глянь, разбросаны штаны. Никто не хочет вставать. Сегодня они не пойдут. Воскресенье свято. Кто-то острит: «У меня есть справка из родильного дома!» Все измучены, сил больше нет. И у Дарио тоже. Ругаются. Придумывают причины, хитрят, как дети. И Дарио тоже такой. Он сует ноги в ботинки. Не влезают. Шнурки порвались. Надо связать. Ну вот, наконец-то. Дарио одет. Берет сомбреро. Мачете. Перчатку на левую руку. Кувшин с водой. Снаружи собачий холод. Если б остаться в бараке и еще немножечко поспать. Или уехать в Гавану. Нет. Надо взять себя в руки. Другого выхода нет. Мы же добровольцы.

Снаружи еще темно. Пронизывающий холод. Над умывальниками тени рубщиков. Вода, наверное, ледяная. Дарио смотрит издали. Ну нет, я хитрый. Если умыться, пожалуй, совсем обледенеешь. Дарио направляется к кухне. Пахнет кофе. Арсенио наклоняет ведро над огромным баком. Бурая водянистая жидкость льется в бак. В ожидании кофе Дарио присел на корточки у плиты, потирает руки. Хорошо, тепло. Сквозь дым, стоящий пеленой, видны закопченные кастрюли, развешанные на стене половники, алюминиевые подносы, закапанные салом. Ему наливают кофе в жестяную кружку. Дарио подносит кружку ко рту и наслаждается первым глотком — теплая жидкость скользит по языку, медленно затекает в горло. Ну-ка бодрей, мачетеро! Скоро наступит утро. А потом день. А потом ночь. И завтра будет снова утро...

Петух поет. Мотор заработал, тяжело завертелись крылья мельницы. Пришли еще мачетерос, все обросшие, в сомбреро. Чихают. Хорошо бы простудиться как следует, тогда отпустят отсюда! Один рубщик все насвистывает. От холода, что ли? Тс-тс-тс. Арсенио режет

хлеб, раздает каждому по куску. Дарио медленно пережевывает хлеб. Макает остаток в кофе. Он завтракает стоя. В углу — Мавр. Натирается мазью: мажет грудь, руки. Все тело Мавра пропахло ментолом. Слышно, как точат мачете о камень. Жужжит брусок. Томегин прячет хлеб в карман. Про запас. Дарио переворачивает кружку. Все, больше нет ни капли. Он ставит кружку на деревянный стол. Завтрак кончен. Во рту еще чувствуется сладковатый привкус. Дарио проводит ладонью по усам, вытирает губы.

Кто-то включил транзистор. Писк морзянки. Путаница голосов. Свист. Приемник трясут, бьют по крышке. Они его сломают! Треск. И наконец: «Добрый день. Вы слушаете «Голос Америки». Начинаем нашу передачу из Вашингтона. Слушайте нас на волне пятьдесят и двадцать пять метров»... На волне лжецов и злопыхателей! «А сейчас, как всегда в 6 часов утра, «Голос Америки» начинает передачу «Встреча с Кубой». Пауза. «Правительство Кастро вынуждено снова обязать жителей страны под угрозой лишения работы участвовать в уборке сахарного тростника». Подходите, сеньоры, говорят о нас. «По полученным сообщениям, коммунистическая диктатура Кастро намерена мобилизовать всех рабочих и студентов страны в связи с критическим положением, в котором оказались власти вследствие отказа героических кубинских крестьян работать на землях, отнятых у них государством». Оживленные возгласы. Хохот. «Пусть придут и посмотрят на нас своими глазами! Если только осмелятся. Они растерялись, не могут ничего понять». Кто-то кричит: «Да выключи ты эту заразу!»

Флоренсио уже взобрался на машину. Опоздавшие бегут получать хлеб. Транзистор переключили на другую станцию. Наливают воду в кувшины. Хроника Гаванского радио. Арсенио снова свистит. Идите скорей завтракать, а то закрою лавочку. «Первого апреля прошлого года четырнадцать американских самолетов были сбиты над Демократической Республикой Вьетнам. Сейчас прибыли еще четырнадцать. На этой неделе поступит в продажу новинка — книга «Под честным словом». В книге рассказывается, как живут кубинские беженцы в Соединенных Штатах. Как собаки. Медицинские советы. Пользуйтесь уборными, подвергнутыми санобработке. Санобработка уборных — основное средство борь-

бы с эпидемиями. Особенно мачетерос-добровольцы и все проживающие в сельских районах должны привыкнуть пользоваться уборными, подвергнутыми санобработке. А также те, кто живет на плантациях... Приз завоевал...»

— Пошли, пошли, пошли.

— Скорее! Чего топчешься?

— Да брусok я там забыл!

Другого выхода нет. Дарио решается. Выходит из барака, взбирается на машину. Возьми-ка мой мачете. Дарио ставит ногу на колесо и — наверх. Хорошо бы, мы уже ехали обратно. Еще целый день впереди. Вот горе-то! Стучит мотор. Люди покачиваются, сидя на дне кузова. Ноги, сапоги... Все курят молча. Едем в Матадеро. Холодный ветерок. Справа — шар, оранжевый, розовый. Солнце встает. Как на картине. Еще один день. Днем больше, днем меньше... Поля срубленного тростника, межа, плантации. Ветер треплет висающие за спиной сомбреро. Сыро. Пахнет водой, росой. Накрапывает мелкий дождик. Хоть бы сломался трактор. Можно было бы немножко подремать. Или случилось бы что-нибудь! Певец запевает: «Вот таким же точно утром пел в пустыне царь Давид». — «К чертовой матери, замолчи!» Дарио закрывает глаза. Покачивается. Надо работать. Срубить сто арроб тростника. Четыре штабеля за утро. Надо взять себя в руки.

По воскресеньям с утра начиналась генеральная уборка. Вытаскивали в коридор всякий хлам. Обтирали от пыли вещи за стеклами шкафов, поливали полы хлоркой, креолином, брызгали «Сосновым ароматом». Иногда обметали потрескавшиеся потолки, снимали густую, висевшую как сеть паутину. Потом детей заставляли полировать два старых кресла из купленного в рассрочку гарнитура, стоявшего в гостиной. Тем временем мужчины усаживались за домино. В одних рубашках, в тапочках на деревянной подошве. Стояла жара, но они курили и пили все утро. Женщины гладили белье. Широкие, плохо простиранные, простыни висели на галерее, мешая пройти, панталоны, рубашки, трусы хлопали на ветру. Мужчины играли внизу, во внутреннем дворе, возле общей ванной. Некоторые обмахивались картонными веерами — их раздавали во время

выборов. На каждом веере — портрет кандидата: Алеман, сенатор, номер первый. Партия либералов, болтунов-попугаев. Партия революционеров «поистине революционная». Демократы, республиканцы, спасители отечества. Хоть веером обмахнуться, вот и весь толк от них. Выигравшие партию посылали Дарио за пивом в погребок на углу. Пустые бутылки оставались Дарио — сентаво за бутылку, можно сходить в кино. Мальчик отправлялся в «Лиру», позади Капитолий, смотреть ковбойские фильмы или мультипликаци. Еще бывали комедии. «Толстый и тощий» или «Канильитас».

Но чаще Дарио откладывал свои сентаво. Вечерами наступало такое время, когда приходили с визитом к родным помолвленные, старухи уже устали следить за каждым их шагом, мужчины уже проиграли в домино обычные четыре реала, а женщины сложили все то же белье; в это время девушки мечтают ускользнуть из дома, ходить по набережной, дышать свежим воздухом, смотреть на бухту, на бороздящие ее в разных направлениях лодки и целоваться с возлюбленным, вздыхая как Либертад Ламарк \*; по радио уже дочитали рассказы о Тамакуне, странствующем мстителе, или последние страницы великолепного, знаменитейшего романа, и делать больше совершенно нечего. Сиди да жди ночи, задыхаясь в своих четырех стенах или в извилистых коридорах. Вот тут-то кто-нибудь и предложит со скуки, как бы даже нехотя: не сыграть ли в лото? Или в бинго, что, в сущности, то же самое, только малость поделикатнее. И для привлечения желающих замечает, что можно схватить порядочный куш. И вот — пошло: «Двойка! Тройка!» Словом — лото.

Какая-нибудь старуха крутит колесо. На деле она, конечно, ничего не крутит, да и колеса нет, но так уж говорится. В прежние времена, когда это делалось официально, вертелось лотерейное колесо и выпадали шары с номерами. Выигрыши выкликали дети из приюта, такие же сироты, как Дарио, жертвы благотворительности, монахинь и общества. Ну так вот. Старуха тоже разыгрывает все это представление, силясь придать предприятию респектабельность и возбудить надежды. «Смотрите, сеньоры, смотрите, мои руки чисты (как у угольщика). Вот он шарик-сударик, вот он катится».

---

\* Известная аргентинская певица.

И старуха сует в мешок морщинистую руку, долго перебирает бочонки и наконец медленно, с достоинством достает один, моля всех святых, чтоб оказался ее номер, именно тот, которого ей не хватает. Снова, хоть па миг, она в центре внимания! Повисла бессильно истощенная грудь (муж, дети, постоянное недоедание), выпали ненужные зубы (так редко бывало в доме мяса!); целыми днями — кастрюли, стирка, а по ночам — все те же приевшиеся ласки мужа, и не успела заметить, как «скрылась молодость — бесценный дар богов». Но все-таки именно она выкликает сейчас номера. Двадцать с девяткой — играет мышка в прятки! Двушка — бабочка-резвушка! Двадцать четыре — голубок в эфире! Звери, птицы, добродетели человеческие... все это — номера. Жизнь — загадка, лотерея, а счастье ускользает, бежит от протянутых рук, и не дозваться, не умолить, не заклисть... На каждой фишке — номер, цифра, полная тайны. Предсказание, божественный знак, доброе предзнаменование можно уловить в любом событии повседневной жизни: разбилась тарелка, картина на стене покосилась, палец порезала или сон приснился, запутанный, тяжелый. Идет она будто по кладбищу, а навстречу — мама, вся в белом, и свечка в руке. И говорит ей мама: уходи, уходи, брось все! Соседка тут же толкует сон: столько лет прожили вместе, а он изменяет тебе. Но нет, не то, восемь — покойника выносим, значит, коли видела во сне покойника, надо ставить на восьмерку, да нет же — мать, мать-то что значит? А изменник — вовсе тринадцать. И Дарио посылали найти уличную лотерею и поставить пару песет — одна-то уж, наверное, выиграет, ну а второй можно рискнуть... Но старуха так ни разу и не выиграла.

Дарио тоже играл. Он ставил свои сентаво и ждал. Выкладывал на карту зернышки. У некоторых жильцов были клетки с певчими птицами. Тоскливо звенели их трели в коридорах многоквартирного дома. У кого-то жил даже зеленый попугай. Он клевал черствый хлеб и выкрикивал непонятные слова. А на галерее бормотали голуби с подрезанными крыльями. Но у Дарио не было птиц. Зернами маиса, рассыпанными по картам лото, он приманивал надежду. Мечты, словно маленькие птички, летели далеко-далеко, прочь от балконов со старыми железными решетками, за которые лениво цеплялись выюнки. Мечты летели над кварталом, над

унылыми домами и колокольнями, искали счастливый номер в игре, без пути, без дороги, как бумажный змей в синем небе.

Дойдя до шестого класса, Дарио захотел стать настоящим мужчиной. Ходить самостоятельно где угодно, курить. Познать женщину, в том самом таинственном смысле, который придают этим словам мужчины. Надоело ездить верхом на метле, прятаться за скамейками парка, играть в бейсбол до изнеможения — бежишь, несешься, быстрее, быстрее, добьешься наконец победы, и все начинается снова. Он смутно ощущал себя личностью. Он, Дарио, — юноша в сапогах и синем пальто, застегнутом у горла большой мачехиной английской булавкой, — отличается чем-то от других людей. И имя его не просто сочетание звуков, которое выкликают по списку на школьном дворе, не крупные буквы в разливной тетрадке по каллиграфии, этим именем его зовут, чтобы отличить от остальных.

Мечты превращались в желания, стремления, жажду. Полететь бы на воздушном шаре, стать пиратом Сандоканом, добраться до звезд, как Бак Роджерс \*, сделаться разведчиком, грабителем, ловким, как Рафль, волшебником, как Мандрейк. Пусть даже он станет монахом, миссионером, поедет спасать души в Африку, в Азию, к китайцам. Дарио часами сидел на галерее, глядел на море, на Морро \*\*; лодки сновали по бухте, и, может быть, среди них тот самый корабль, потерявший курс, вечно скитающийся в открытом море... И вот уже Дарио — моряк; как пятнадцатилетний капитан, он открывает затерянные в море острова, становится белым королем туземных племен. Все доступно, легко, и за одну ночь можно стать знаменитым. Портрет Дарио напечатают в школьных учебниках, во весь рост, его имя будет стоять рядом с именами героев, великих людей страны. И даже сами правители призовут его на помощь и поручат опаснейшее дело — спасти страну от коммунизма или от нашествия марсиан.

А потом Дарио спускался с галереи по узкой винтовой лестнице с прогнившими ступеньками и вспоминал старушку с верхнего этажа. Она умерла и лежала хо-

---

\* Герой популярных рассказов о межпланетных полетах.

\*\* Крепость в Гаване у входа в бухту, построенная в XVI в.

лодная, зачоченевшая, а гроб невозможно было пронести по этой узкой лестнице с трухлявыми ступеньками. Тогда покойницу положили в черный мешок, и вечером двое мужчин потащили ее вниз и при этом ругались, потому что старуха оказалась очень тяжелой, хотя живая была тощей и жилистой. Старуха эта приехала из жалкой деревушки, из Рематес де Гуано. Писать она не умела, никогда не училась и часами диктовала Дарио письма к своим: «Надеюсь, что вы получите это письмо в добром здравии, здесь тоже все слава богу, в следующем месяце думаю вернуться». Но все не возвращалась, потому что она медленно умирала, а в больнице не было мест и никто за ней не ухаживал. Она приходилась бабушкой Верене, крестной матери Дарио. Верена жила с каким-то старым военным, и в тридцать лет волосы у нее поседел на висках. Она обнимала Дарио, прижимала его к своей мягкой, теплой груди...

Дарио приходил в себя. Конец мечтаньям. Огромные корабли, шлюпки, шпаги, молитвы и четки расплывались в тумане... здесь, на земле, реал или пять сентаво гораздо важнее, чем истории о ковбоях или мультфильмы про утенка Дональда. На углу находился китайский ресторан, погребок, где отпускали обеды на дом, там давали рис и бобы, но все это стоило денег, за все надо было платить, пять сентаво или реал, платить деньгами. Или своим телом, как Каридад. Она жила с хозяином ресторана и каждую неделю получала много пакетов с продуктами на всю семью. И Каридад рассказывала: Ли очень добрый, но только он — китаец, можешь себе представить, а крестная мать Дарио отвечала: это неважно, надо о будущем подумать, Каридад просто повезло, вовсе не так легко найти китайца, который согласен снимать для тебя комнату. Каридад все же не сразу решилась. Однажды Ли заболел и попал в больницу. Тогда Каридад пришлось пойти навестить его, потому что без него не давали продуктов. Она взяла с собой Дарио, а Ли дал мальчику песо, чтобы он пошел купить себе что-нибудь и оставил их одних. Знает, Ли простил Дарио — а ведь сколько раз мальчик дразнил его: «Китайчонок —дохлый мышонок» — и вместе с бандой таких же, как он, смуглых сорванцов выкрикивал: «Китаец-китайчонок, желтый, клейменный, китаец-китайчонок, желтый, клейменный, китаец-китай-

чонок, желтый, клейменный...» Но не у всех женщин широкие бедра и черные глаза, как у Каридад. Другие просили займы, брали продукты в кредит, подсчитывали расходы, искали заработок, худели, сбивались с пути, сплетничали, дрались... и умирали, вдруг умирали, а дети их, как Дарио, мечтали о Сандокане и читали Жюль Верна.

И Дарио спрашивал на занятиях по закону божьему, когда же наконец бог, великий и всемогущий, накажет злых. Кармен, учительница, усмехалась и рассказывала о Страшном суде, о том, что Христос сказал — легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное. Дарио думал: нет, никогда, верблюды такие большие, у некоторых даже два горба, а игольное ушко — крошечное, крестная мать всегда зовет Дарио, когда надо вдеть нитку — он видит лучше всех, и, значит, это несчастье — быть богатым. Потом учительница раздавала медовые карамельки из картонной коробки и говорила, чтоб не забыли прийти к мессе; дети должны ходить к мессе каждую субботу, там им дадут пару карамелек и картинку в два цвета — святая дева Мария, зачавшая непорочно, стоит босиком на свернувшемся спиралью змие или летит в клубящихся облаках, как Матиас Перес, все выше, выше, прямо в небо, словно прекрасный воздушный шар. Несмотря на все это, ни один из школьников не являлся в церковь; никто не хотел петь в хоре, которым с таким вдохновением дирижировал брат Мариано. Голос у брата Мариано был тонкий, глаза точно у дохлой рыбы; а старик Исидро, глухой как стена, колотил по клавишам органа, извлекая грохочущее: «Господь наш иже еси на небеси, да святится имя твое, а-а-а-минь».

В церкви Дарио становился на колени на лиловую скамеечку, весь дрожа от страха перед божественным правосудием, следившим за каждым его шагом. Да еще ангел-хранитель глядит на тебя всякий раз, когда переходишь улицу. Мальчик представлял себе страшные адские муки, которые он, конечно же, заслужил за свои смертные грехи: вот Дарио горит на адском огне (искры так и летят), его поджаривают в кипящем масле, а жуткие черти скачут от радости и распевают, покачиваясь, как эстрадные певцы:

Оливковое масло так нежно и прекрасно,  
Оливковое масло на сковородку лей,

Оливковое масло так пезно и прекрасно.  
Оливкового масла не жалеи!

А проклятый Люцифер, сатана, ходит по кругу, как лев, и рычит — ищет, кого бы сожрать. Люцифер — великий грешник и гордец, но его победил святой архангел Михаил, начальник небесной полиции. И вот Люцифер как подденет Дарио на свои страшные вилы, Дарио так и останется на вилах навсегда. Навеки, навеки, навеки, и не спастись ни за что...

Ребятишки вместо мессы удирали всей ватагой на мол, тут же у степы сбрасывали с себя одежду, кидались в море и плавали возле обросших водорослями скал, в радужных пятнах бензина, среди обломков ящиков. Они веселились от души, не хуже членов Балтиморского яхт-клуба, зорко следя, не виднеются ли где плавники акул — голодные, опасные хищники появлялись иногда в бухте, — до тех пор пока какой-нибудь любопытный прохожий, решив поразвлечься, не бросал в воду несколько монет. Тогда мальчики, задержав дыхание, с открытыми глазами погружались в глубокие подводные ямы, мечтая об ананасном и апельсиновом дуропро\* или об апельсиновой воде со льдом, которая так хорошо утоляет жажду в эти горячие летние деньки. А иногда в воскресенье составлялась команда, и все отправлялись с утра в Ареналь. Играли всерьез, со строгим соблюдением правил, настоящими битами; надевали перчатки, ботинки на шипах, и вообще старались из всех сил походить на нападающего из Марианао. Шумные утренние чемпионаты всегда сопровождались ссорами, драками, возней — кому-то сломали биты, кто-то зажулил очко, неправильно засчитали удар, «мы придерживались тактики обороны», «я больше с вами не вожусь, отдайте мой мяч».

Вечерами Дарио надевал свое синее пальто, застегивал только что пришитую пуговицу и отправлялся с визитом к Кармен — учительнице. Она была молода, набожна, грустна и одинока. С ней жила мать, сестра, ставившая тонким воспитанием и работавшая в магазине фирмы «Спрэ», а также белая лохматая собачка по имени Ней. Квартира учительницы находилась на улице Лампарилья, напротив кино «Сервантес». Дарио звонил в паружную дверь, и сверху кидали ключ. Маль-

---

\* Фруктовый напиток, замороженный до состояния льда.

чик ловил ключ и поднимался по лестнице к дверям, на которых была прибита металлическая табличка: «С богом — все, без бога — ничто». Кармен приглашала к себе лучших учеников, готовила для них желе и са- модельное мороженое. Любимчики, вроде Дарио, оставались иногда ужинать. Учительница повторяла с ними уроки, читала отрывки из священной истории и, подобно Авельянеде, из «Паломницы»:

Прощай, моя родина, край мой любимый!  
Судьба меня гонит. Вдали на чужбине  
Одно только светлое имя твое  
И слух мой ласкает, и сил придает.

Кармен рассказывала о Мариане Грахалес, матери братьев Масео. Говорила и о чуде святого Хуана Босха в Италии, о благословениях папы Пия XII, о святой Рите де Касиа, заступнице тех, кому нет прощения, алтарь ее всегда усыпан розами. Но мальчикам скоро надоедали молитвы, чудеса и священная история; они выбегали на балкон, играли с собакой, дрались, и Кармен призывала их к порядку. Бедная старая дева, сама невинная, как дитя, устраивала игры и искренне веселилась вместе с ребятами. Она была постоянной парой Дарио, когда играли в бриску, в туге, в тридцать и сорок, в акульку.

Испанские карты привлекали яркими картинками. Король верхом, двуглавая королева, туз — весь золотой, в виде сверкающего солнца, трефовый туз — дубина. Учительница никогда не гадала на картах, не верила. А Верена говорила, что надо Кармен раскинуть карты, погадать, может, тогда и бросит богомольничать, а нето так и останется старой девой. Но Кармен боролась с суевериями. Она брала в руки те самые карты, в которых некоторым женщинам виделось будущее, дорога, неожиданность, и просто-напросто играла, надеясь только на одно — выиграть нынче вечером.

А под балконом Кармен, у дверей кино, девушки разглядывали фотографии киноактеров. Эти девушки гадали по руке, смотрели гороскопы, составленные профессором Карбелем: «звезды склоняют, но не принуждают», раскладывали карты, молились святому Антонио. Они надеялись встретить голубого принца: «Он прискачет за мной на белом жеребце, сейчас же, прямо сюда, на угол улиц Лампарилья и Кампостела».

Индийская легенда рассказывает об одном радже, жившем в Бенаресе на берегу Ганга, по имени Сандбеди, который за свои грехи и злодеяния был осужден не иметь сыновей, что у индусов считается самым тяжким наказанием. Чтоб искупить свои преступления и примириться с богом Ишварой, Сандбеди отправился в самые отдаленные места на берегах Ганга и стал жить там, питаясь одним только сахарным тростником, что в изобилии произрастал в тех местах. Тростник, тронутый раскаянием грешника, вырастил из своего семени сына для Сандбеди, потомки которого продолжают существовать и в наши дни и носят имя, означающее «рожденный сахарным тростником».

В другой легенде рассказывается, как один принц по имени Баркамарис убил родного брата, застав его и свою супругу вместе сосущими стебли сахарного тростника.

Северо-восточные районы Индии, особенно Бенгалия, считаются родиной сахарного тростника; отсюда происходит название столицы Гаура, от слова «гур», что означает «сахар». Таким образом, можно считать, что добывать сахар из тростника начали впервые именно в этой провинции.

Ману — легендарные персонажи древнеиндийского эпоса — создали свод законов, написанный, по преданию, первым ману более чем за тысячу лет до нашей эры. В своде упоминается и о сахарном тростнике. В главе восьмой, в параграфе 341 сказано: «Если человек находится в пути, а запасы пищи у него истощились и возьмет он два или три стебля или два маленьких корешка сахарного тростника с соседнего поля, то ничего не должен платить за них...»

Это самое древнее упоминание о сахарном тростнике.

Евреям также известен был сахарный тростник, так как о нем говорится в Ветхом завете (Исайя, гл. 43, стих 24; Иеремия, гл. 6, стих 20).

Гумбольдт утверждает, что видел несколько ваз из китайского фарфора, на которых была изображена добыча сахара из тростника. Вазы датируются за 600 лет до нашей эры.

Фернандо Ахете, *Сахарный тростник на Кубе*, 1946.

*Когда Александр Великий в 327 году до нашей эры завоевал Индию, его писаря рассказывали в своих записях, что жители этой страны жуют странный тростник, дающий мед без помощи пчел. Вот и Папаша тоже, ощутив в животе колющую пустоту, словно что-то там переворачивается, начинает старательно очищать стебель волшебного тростника; мачете скользит по темно-зеленому стеблю между узлами, потом легко проходит внутрь, толстый верхний слой спадает, и открывается белое мясо. Папаша впивается в него зубами, огромными, как дробилки, нежный, сладкий сок заполняет пересохший рот, густой струей вливается в горло. Папаша — мачетеро, доброволец Пятой народной сафры, никогда не слышал об Александре Великом, преемнике Филиппа, завоевателе Азии, победителе Ирана, Туркестана и Индии, герое десятков легенд от Индийского до Атлантического океана, однако вполне возможно, что и Александр Великий любил пожевать при случае стебель тростника, несмотря на то что при царском дворе соблюдался в те времена персидский этикет. Когда Пиррон спорил с индийскими мудрецами, отстаивая философию скептицизма, Чандрагупта готовил в поход армию, состоявшую из девяти тысяч слонов, тридцати тысяч лошадей и шестисот тысяч стрелков, которые, наверное, тоже все как один сосали волшебный тростник, дающий мед без помощи пчел.*

Папаша знал историю жизни только одного Александра. Александр — двоюродный брат Папаши, тоже прозванный Великим (вы, конечно, догадались за

что). Около тридцати лет назад Папаша с Александром рубили вместе тростник на плантациях завода Эспанья, тянули на спор канат, пили кувшпшамц, поднимали тяжести, а один раз прошли двенадцать лиг, гонясь за хутией\*. Потом оба занялись боксом, и тут Александр прославился. Какие-то американцы заключили с ним контракт, напечатали портрет Папашина кузена в журнале — только под другим именем, Кид Алехо, — и увезли парня на север. Там его били и колотили по-всякому, что его жалеть, ведь он негр, черный-пречерный. Вскоре Александр вернулся, оглохший на одно ухо, со сломанным носом и весь залепленный пластырями. Американцы оплатили ему переезд на улицу Сан-Исидро, номер 364, в Гаване, где проживал тогда Папаша со своей первой женой и тремя ребятишками, которые пожирали все вокруг себя, съедобное и несъедобное. Так вот, Александр Великий приехал и сел им на шею, да еще перебулгачил весь квартал — парни начали тренироваться: может, еще кому повезет и американцы заключат с ним контракт, увезут на север и будут там лупить без пощады, потому что все они тоже были негры, мулаты и креолы и все изнывали от безделья в ожидании сафры, а это хуже, да, да, сеньоры, гораздо хуже, чем подставлять свой нос и уши, чтоб тебя колотили, как этот несчастный Александр Великий. Он умер в воскресенье, в девять часов утра, пытаясь вырваться из захвата в разгаре азартного матча с уличным продавцом котлет, и на другой день хроникер Эладио Секадес написал в газете, что Александр «перешел в лучший мир» и «вечная слава нашей первой перчатке».

Папаша тогда не был еще Папашей, звали его Пабло Родригес, и он ничем не отличался от других негров; на жизнь смотрел попросту, без всякой философии, принимал ее такой, какая она есть. Улица учила его уму-разуму, и он оказался способным учеником: никто не мог бы его обмануть, шкура у него была дубленая, побывал он и в Перико, и в Колоне, и в самых аристократических кварталах Гаваны; и все горничные, все блондиночки из Ведадо были без ума от Пабло — еще бы, шесть футов росту, а фигура какая! Не хуже чем у самого Виллара Келли, которого по телевизору пока-

---

\* Хутия — конга или крыса. Фурнье — животное отряда грызунов, водится только на Кубе.

зывали, как он тянул-тянул носки фирмы «Онсе де Касино», да так и не смог разорвать. По воскресеньям Пабло приглашал какую-нибудь из горничных на гулянье, и они пили пиво (совсем недорого) и танцевали в большущем парке. Жизнь казалась веселой и немудрящей, как гуарача \*. До революции Пабло пришлось писать всего только два раза: в первый раз, когда он женился на Урсуле. Урсула родила троих детей, сделала один аборт, дала Пабло неделю срока, чтоб он вернулся на путь истинный, каким-то чудом умудрилась открыть кафе, прославилась на всю округу двумя грандиозными скандалами и заварухой из-за трех песо — в чем было дело, так и не выяснилось, — лежала при смерти, и Пабло не спал пять ночей подряд, вылила мужу на голову ведро помоев, чтоб он взялся наконец за ум, устроила великолепный пир по случаю возвращения Александра и закатила однажды потрясающую оплеуху матушке Инес в очередной драке. Так вот, в первый раз Пабло пришлось писать, когда они расписывались с Урсулой, — он поставил тогда большой крест на официальной бумаге, и, пусть все знают, до сих пор этот крест стоит, и Пабло вовсе не собирается его зачеркивать, хотя уже дважды женился после смерти Урсулы. Во второй раз Пабло расписывался, когда голосовал в 48 году за Чибаса — тот бросил клич «Позор богатым» и обещал вымести железной метлой всех воров и расточителей народного добра, всех развращенных политика-нов, доведших нашу страну до такого состояния.

И надо вам сказать, что в те времена Пабло Родригес никогда и ничего не делал добровольно — избави бог, только если обстоятельства заставляли. Работал он помощником весовщика в Порту-Лус, потом подвозил на тачке товары на Старом рынке, был грузчиком в продуктовом магазине; садовником в Мирамаре у одной старой девы — у нее в доме жили семь кошек, две служанки и управляющий; заливал свинцом гробы в одной больнице под Гавапой, белил стены соседям, а иногда брался даже покрыть лаком дверь кабинета какого-нибудь сутяги с Торговой биржи; работал на стройках, конечно каменщиком, плотником, подносчиком, как все негры — их перебрасывали с одной работы на другую;

---

\* Кубинский народный танец.

они строили двухэтажные виллы с террасой, порталом и ванной комнатой, стандартные дома с низкими потолками, бесконечные дороги, которые все начинали строить и никогда не кончали, и отели для туристов с салонами для игр. Наконец, — редкое везение! — Пабло сделался агентом по перевозке мебели; он ездил на чуть живом грузовичке, который им удалось арендовать вместе с компаньоном, известным в квартале по прозвищу Усатый, потому что он был белый и носил густые черные усы. Они перевозили мебель и всякое барахло из одного дома в другой, из квартиры в комнату, из комнаты в сарай, все хуже да хуже, вплоть до того, что клиент не тянул уже на автотранспорт, и тогда его добро везли на тачке.

Так вот, Пабло и Усатый создали артель; они взваливали на спину тяжеленные трехэтажные буфеты, поднимались и спускались по лестницам; они научились судить о платежеспособности клиента по тяжести узлов, типу матрасов, кроватей, по пальто, пропахшим нафталином, по плетеным креслам, детским игрушкам, по запрятым в дальние углы сувенирам, что хранятся долгие годы и невозможно выбросить их при переезде на другую квартиру; Пабло всегда удивлялся: чего только не хранят люди у себя дома, самые странные вещи — нужные и ненужные, целые и сломанные, чистые и грязные, свои и чужие, новые и старые; иногда им случалось волочить огромную железную кровать с никелированными спинками, а на кровати лежала обезножевшая бабка в чепце и застиранной длинной рубаше и на чем свет стоит ругалась, возмущенная насильственным переселением, требовала, чтобы убрали этого страшного негра, который идет в головах, глаза у него, как у дохлого барана; носили легкие раскладушки, на которых, может быть, спал толстый булочник с улицы Меркадерес, тот, что женился потом на хозяйке мебелированных комнат, улица Соль, 505. Пабло сам не раз проводил ночь на улице Соль — 25 сентаво для одиноких мужчин; одежду приходилось прятать под подушку, потому что хозяйка воровала самым бессовестным образом, а если кто и поднимал крик, того немедленно выставляли на улицу. Пришлось как-то раз тащить колыбель незаконного сына некой Этельвины; малыш — плод первых ее похаживаний — и был прямой причиной поспешного переезда, сопровождаемого ком-

ментариями кумушек-соседей, торчавших из всех окон и дверей: ах, бедняжка, уж, конечно, пегодай насулил ей всякого; ну, от меня-то он ничего бы не добился; Этельвина вся в мать, та тоже всегда бросалась от одного к другому. «А ну, дайте-ка пройти, сеньоры, здесь еще пока никто не умер!» Негр Пабло темной громадой высится на тротуаре. Он тащит последние узлы и громко кричит: «А ну, р-р-разойди-и-и-и-и-и!» — потому что Пабло вовсе не по душе, когда люди роются в чужом грязном белье и перемывают косточки соседям.

И так он старел понемногу, сам того не замечая, перевозил мебель, рубил тростник, работал где попало, чтобы накормить своих малышей. Они подросли, и судьба их не отличалась от судьбы отца. Ребята стыдились немного своей черной кожи, хотя вины тут никакой не было, но из-за этого они не могли поступить на работу — во многих местах принимали только белых, а потом они стали смотреть на дело так же, как Пабло: собрали свою компанию сердитых молодых людей и иногда, расчесав раскаленным гребнем волосы, чтоб стали гладкими, отправлялись тайком от отца выпить свой первый стаканчик. А потом Пабло и сам почувствовал, что постарел, ослабел, износился, но по-прежнему оставался решительным, предприимчивым и мог еще поспорить с любым молодым. И тогда его начали называть Папашей; в прозвище был двойной смысл: с одной стороны, родитель, глава семьи, с другой — человек опытный, твердый, несмотря на свой возраст, с которым всегда приходилось считаться.

Папаша очистил еще одну трубку тростника, надо дать напарнику, этому парнишке Дарио. Ну-ка, попробуй, приятель, вот уж сладко, ничего не скажешь! Дарио снял перчатку с левой руки — она почище; взял трубку тростника, нацелил мачете и воткнул в стебель между узлами. Поднес тростник ко рту. Сок потек по подбородку. На улице Вильега, напротив церкви Спасителя, продавали такой сок. Никогда не думал, что мне придется рубить тростник. Там были кружки на три литра и на пол-литра. Тут же, рядом, на маленькой ручиной мельнице мололи вот такие же куски, и сок лился в кувшин, а потом старик Пачота наливал из кувшина в кружки, и ребяташки жадно сосали плававшие там кусочки льда. А рядом, в подъезде, играли негры-грузчики — бросали монеты об стену. Люди

посерьезнее играли в шашки железными крышечками от бутылок, отмахивались от мух мускулистыми руками в кожаных напульсниках — символ силы. Быть может, среди них был тогда и Папаша, и, как знать, не он ли совершал на глазах детей, безработных, прохожих и бродячих торговцев свои нехитрые подвиги: сгибал гвозди и рвал телефонные провода?

Над головой чистое небо, ни единого облачка; солнце льет с высоты потоки раскаленного свинца. Папаша и Дарио рубят с самого утра. Когда они начали, было прохладно и почти темно, роса покрывала поле. Потом взошло солнце, стало немного припекать, солнце поднималось медленно, разгорелось утро, а они все рубили, обливаясь потом. Сперва это казалось совсем не трудным, что-то вроде спорта. Они слушали пение птиц, жужжание пчел и быстро продвигались вперед, оставляя за собой полосу срубленных стеблей. Но даже и в эти часы Дарио никак не мог угнаться за Папашей. Старый негр шел впереди почти на четверть мили. Этот силач неутомим, да еще все время разговаривает. «Одолжи-ка мне брусок», — говорит он Дарио. Наклоняется, втыкает мачете ручкой в землю. По изогнутому лпсту тростника ползет красный муравей, суется туда и сюда, возвращается на прежнее место, что-то вынюхивает. Папаша не носит рубашку, только нарукавники, широкие, длинные, он стирает их каждый вечер, и они всегда белые-белые, развеваются на ветру и видны издалека. Муравей заблудился среди вьюнков. «Пошли, приятель, не раскисай!» — выпрямившись, кричит Папаша. Ни за что не раскисну, лучше умру! Надо взять себя в руки.

И они опять начинают рубить. Нарукавники Папаши равномерно поднимаются и опускаются. Жара нестерпимая. После сладкого тростника еще больше хочется пить. Но не стоит идти к меже, где остался кувшин с водой, накрытый пальмовым листом. Нельзя больше останавливаться, терять время. Жужжит комар, вьется над головой. «Это было на сафре, в сороковом, ну да, в сороковом!» — кричит негр; опять он начал свои бесконечные рассказы. В сороковом... я еще, может быть, не родился, а он уже рубил тростник. «Ну вот, этот, значит, прискакал на лошади, у него были самые породистые, ясно, ему все дозволено». Пусть рассказывает, а я поспешу, может, сумею его догнать, пока он

отвлекался. «Ну, прискакал и спрашивает, где Папаша. А я — вот он, тут как тут». Воздух недвижим. Москит впился в шею. Нельзя останавливаться. Я все равно его догоню, умру, но догоню, не будь я Дарио.

Вообще-то говоря, называться Дарио не такое уж важное дело. Существовал, правда, один очень известный человек, который звался тоже Дарио, — Рубен. Но настоящее имя его было Феликс Рубен и родился он в Никарагуа. Дарио вспоминает уроки литературы, экзамен на аттестат. Стихи, прочитанные в полутьме коридоров под храп, несущийся из-за соломенных штор, под хныканье детишек, которые просятся на горшок, под бормотанье бесконечных подсчетов, как дожить до конца месяца — опять не хватает; а из восьмого номера несутся страстные вздохи, там только что поселились молодожены, правда, в церкви они не венчались; мужчины ругаются, не в силах заснуть от духоты; потом утро — мытье до пояса в тазу, кое-как, а с голода лязгают зубы, и в животе бурчит, и звенят пружины под четырьмя Сильва — братья и сестры, все спят вместе, вповалку, — свистит вода в ржавых трубах, орут коты, дерущиеся на крыше, и на крыльях Леды слетает к Дарио таинственный александрийский стих.

*Что значит зов твой, о Леда?*

*Мечта — это горе мое.*

*Поэзия — панцирь тяжкий, что душу навек сковал.*

*Шипы вонзаются в душу!..*

И воспоминание о Мерседес, как она смотрела Дарио в глаза, а вдалеке пели скрипки; сплетенные руки, цветущие сады, туманные земли, что видны с палубы корабля, прохладная ладонь на лбу и вкус ее нежных губ — любовь. Любовь, невыразимое счастье встречи, отдачи себя, небо, рай, страсть, комок в горле, раздвоение своего «я» на «мы», туман, и, может быть, это и есть смерть, и хочется плакать, смеяться, кричать о том, как ты счастлив, уйти далеко, в эту ночь, прозрачную как стекло, искать в безумии звезды, драгоценные камни, бриллианты и уговорить ее, объяснить, умолить на коленях — ведь да? Да? Пусть скажет, что «да», что любит, она тоже любит. Да! От века. С того

самого дня, когда Дарио подарил однокласснице карандаш, с первого стихотворения на клочке бумаги. «Не знаю, что вижу в твоих глазах и в красных твоих губах...»; листок попал в руки учительницы. Старая ведьма оставила Дарио после уроков и велела написать в тетради по каллиграфии сто раз: «Писать такого рода стишки — позор». С того бала в пятнадцать лет: вальс как безумный кружился над незнакомой далекой рекой, где-то в Европе; синяя, синяя река, Голубой Дунай, да будут благословенны твои чистые воды, Дунай, Голубой Дунай — родина радости; а они кружат и кружат по щербатому полу, они танцуют одни, во дворце, в замке, юная принцесса в воздушном белом наряде (в первый раз надетое бабушкино наследство) и «джентльмен» в рубашке с воротником и с галстуком (взятыми напрокат); они едва касаются друг друга и смотрят друг другу в глаза... С того самого пикника, когда варили сосиски на костре и Дарио радостно глядел, как языки пламени тускло освещали траву у ее ног; и острое чувство наслаждения от победы над огнем, и треск веток, умиравших в пламени, и грустная песня под гитару, и подавленный вздох, и рука (как часто бьется пульс!), протянутая с жаркой надеждой, и милый смех, звенящий, как далекие колокольчики; беспечная молодость, любовь и грусть, сердце стучит, словно хочет выскочить из груди, не удержишь... и, наконец, тот великий день, когда он подошел к ее дому, как бы случайно, по пути, остановился на углу и закурил свою первую дешевую сигарету. Он ждал, терпеливо ждал — может быть, она выглянет в окно или ее пошлют за чем-нибудь в лавочку, в палатку, и тогда она поздоровается удивленно: «Ты что тут делаешь?» Да так, случайно проходил мимо, иду, то есть возвращаюсь, то есть здесь поблизости... а ты куда? Да вот сюда. Ну пока. Пока, до свидания, всего... Я ее видел, она со мной поздоровалась, протянула руку, глядела на меня. Она на него глядела! А у него волосы длинные, нечесанные, заложены за уши, свитер в рисунках по мотивам Шервина Вильямса — красные, желтые, зеленые пятна так и сверкают, брюки с раздутыми карманами подсучены, грязные кеды надеты на босу ногу... но глаза горят и смотрят в ее глаза, а ведь он никогда не говорил ей ни слова, да и как про это скажешь? Она и так знает, да, она знает. Каждый

вечер он пытается писать о ней, запершись в уборной, или на молу, или на галерее под звездами, которые светят для нее; в узких темных коридорах он шепчет свои двадцать стихотворений о любви, песнь о своем отчаянии: я влюблен, я люблю тебя, обожаю... нет, нет, не так, надо нежнее, мягче. «Как нравишься мне ты, когда ты молчишь, потому что тебя как бы нет...» О безответный зов! Письма, письма: «Любимая, пишу тебе, изнывая в тоске», десятки писем, спрятанных, изорванных... имя, вырезанное на деревьях городского парка; сердце, пронзенное стрелой, неуклюжий амур, нарисованный в тетрадке; цветы, сорванные тайком в чужом саду, сбережения на покупку сказочного подарка любимой — три дня Дарио не завтракал, откладывал деньги... Открыть ей свою любовь? Но как, как сказать? Вот прямо сегодня, сейчас, здесь у входа. «Я должен тебе кое-что сказать». — «Да что ты? А про что?» — «Ну это... знаешь... ты забыла карандаш... завтра экзамен... ну, пока...» И строки того Дарио, обманщика, которому все было легко, потому что его небесные стихи и бесстыдные песни всесильны.

Были и такие ребята, которые давали девочкам обещания, дарили кольца. Например, Марселино, сын владельца скобяной лавки. Он корчил из себя аристократа, носил элегантную рубашку и ходил играть в баскет на площадку Коллегии Вифлеем; или Тони с Вильянуева, этот курил «Честер», пил виски с содовой в кабаре на пляже, постукивая по столу в такт музыке, и острил, что осуществляет на практике заветы святого Августина, специалиста по благодати; «прославь закон, прославь закон», а сам, между прочим, в Карфагене проводил время весьма недурно и даже имел сына Адеодато и уж потом только повернул на христианство, — Тони отпивает глоток виски, ставит стакан на столик, опять отпивает... — знаешь, в субботу я встречаюсь с той блондинкой. Пьянчужка Мак-Дермотт силен на счет этого дела! Был еще Перес — посыльный из Первого Нью-Йоркского Национального банка, он разносил счета в ожидании великого будущего — сделаться кассиром или помощником бухгалтера. Этот купил в расрочку подержанную машину и гонял по сто километров в час, возил приятелей в Гуанабо. Другие ребята тоже смеялись над дурацкой любовью Дарио, потому что их волновали только чемпионаты по бейсболу, Джо

Ди Маджио \* да Миньосо \*\* — вот этот так настоящий кубинец! Ребята из их квартала бормотали сквозь зубы английские слова, колотили битой по мячу в решающих матчах да горячо спорили о Фанхио и маркизе де Портаго, знаменитых автоасах (видно, и впрямь изобретение колеса было отправным пунктом развития цивилизации): представляешь, гонщик уже выложился весь... А за железным занавесом чуть что — к стенке, да ну, иди ты, пропаганда! А что? Может быть, и правда. Посмотри на Батисту; не суйтесь в политику, ничего хорошего не будет, а вот вы видели картину об Алькасаре... Некоторые мечтали изучить медицину, но только это очень долго, а надо работать... или хорошо бы стать инженером, архитектором. Кем угодно, только бы математику не учить, математика у меня в печенках сидит... Согласно теории относительности Эйнштейна, масса отдельной частицы меняется в зависимости от скорости... Немало было и таких, что теряли голову, влюбившись в какую-нибудь сорокалетнюю раскрашенную женщину легкого поведения; та в один миг вытягивала из мальчишки два песа, но обращалась с ним хорошо, ласково... Ну и что же, пусть себе, пусть каждый делает что хочет, ведь скоро мы кончим школу, вот ты уже какой верзила и сидишь на шее у семьи, а семья сама одним воздухом питается. Но все ребята, и те, что уже знали женщин, и те, что их еще не знали, все равно не имели в свои семнадцать лет ни малейшего представления о любви. Они были совсем другие, они никогда не смогли бы полюбить с такой преданностью, всем телом и всей душой, как, например, Вертер. Жалкие материалисты, развращенные улицей, занятые дешевыми книжонками, уроками и кино, местные донжуаны, они смеялись над чувствами и даже не подозревали, что душу Дарио обвивал голубой туман, затканый тонкими нитями воспоминаний. Дарио был один против них — влюбленный, ищущий одиночества, чтобы мечтать о любимой, без конца вспоминать ее лицо. Как часто он рисовал это лицо! На одних портретах она была грустная, с поднятыми вверх волосами, на других улыбалась, звала Дарио, и с каждым разом она становилась все прекраснее, все совершеннее. Потом он рвал портреты, и

---

\* Известный американский игрок в бейсбол.

\*\* Известный кубинский игрок в бейсбол.

обрывки разлетались, как листья, гонимые весенним ветром.

Так вот, не такая уж это важная вещь — носить имя Дарио, вообще-то говоря. А еще был один Дарио — персидский принц, старший сын Артаксеркса, он безумно влюбился в Аспазию, придворную даму, отвергнутую отцом; из любви к Аспазии принц вступил в заговор, был приговорен к смерти и казнен. Учили по всеобщей истории. Принц отдал жизнь за любовь. К жрице Аспазии. К Мерседес, дочери типографщика Карлоса; он работает в газете, вечно стоит на углу пьяненький и пристает с разговорами к прохожим. Карлос смотрит на мир сквозь близорукие очки в металлической оправе, он и знать ничего не хочет о Дарио, о длинноногом подростке без всякого будущего; влюблен, видите ли, и кружит вокруг девочки, которая чуть не начала красить губы. И вот наш принц приговорен. К вечным сомнениям, к неуверенности в завтрашнем дне, в будущем, которому принято придавать такое большое значение. Приговорен бороться с судьбой, любить, погружаться в свои страдания, худеть от напрасных надежд... Что ему карьера, он не стремится прославиться, он видит только свои мечты, радужные, переливающиеся, как золотые рыбки в голубой воде. Он приговорен, казнен, убит, распят, потому что носить имя Дарио не такая уж важная вещь, если хотите знать.

Он стоит, чуть склонясь над бороздой. Проснись, моя радость, проснись. Умолк. Надо же отдышаться. Смотри-ка, уже рассвело. Передохнем. Дарио прозвал его Певцом. Голос у Певца мягкий, как будто нарочно, чтоб петь болеро. Он поет целые дни. Тростник рубит мало, но никто на это не смотрит, лишь бы пел. Пение веселит душу, развлекает, не замечаешь, как время проходит. Певец поет, и начинает казаться, что у тебя еще много сил. И опять — соберешься с духом и знай себе рубишь да рубишь. А Певец все поет. И птички чиркают, и уже встает луна. Сначала на Певца злились. «Маха́\*, лодырь!» — кричали ему. А он остановится перед своим участком и стоит, раздумывает, разглядывает тростник чуть ли не полчаса; ударит наконец

---

\* Крупная змея.

мачете и непременно оглянется посмотреть, как ложится срубленный стебель рядом с другими; потом опять стоит да думает, а то и вовсе растянется на солнышке и лежит, ну точь-в-точь маха, когда она поджидает добычу, а другие работай, надрывайся, гни спину. Певца ругали, он переставал петь и брался за мачете. Полосы срубленного тростника росли. Певец рубил как одержимый, не хуже Рейнальдо Кастро, а над полем нависала гнетущая тишина. Только свист мачете — чш-чш, чш-чш. Тоска. Солнце над головой. Москиты. Прошуршит меж стеблей тростника мышь, и опять тишина. Кто-то наступил на муравейник, подпрыгнул, ругаясь отчаянно, развязывает шнурки, стаскивает рваные чулки, стряхивает муравьев, а они лезут, ползут по ногам, кусают — мстят разрушителю своего жилища. Чш-чш! Чш-чш! — свистят мачете. Удар, еще удар. Падает тростник, стебель на стебель, стебель на стебель... Тяжко. Скучно. Бессвязные воспоминания. Четкие удары. Проклятые империалисты! Хочется уйти отсюда. И пива хочется, холодного, пенистого. Сил больше нет. Но надо рубить, рубить. Чш-чш! Все то же. Наклон. Удар. Отбросить срубленный тростник. Остановка. Срубить верхушку. Наклон. Удар. Остановка. Наклон. Этой борозде нет конца. Тысячи ударов. Тысячи дней, часов, минут, тысячи стеблей. А родные далеко. Солнце над головой. Дышать нечем. Пот заливает глаза. Пусть Певец споет что-нибудь. Когда он поет или болтает, как-то легче. Ну-ка — «Куба, о, как ты прекрасна». Только без сафры Куба мне больше по душе. Ну давай, Певец, запевай! Не отвечает. Обиделся. Вот собака! Рубит как очумелый. Жара. Нечем дышать. Ей-богу, больше не выдержаты! Да ладно тебе, Певец, я же пошутил. Ты герой труда, передовик! Наклон. Остановка. Наклон. Остановка. И так — тысячи раз...

Певец родом из Гаваны, но играть на гитаре учился, как он сам говорит, в Андалусии, в прохладной тени старых виноградных лоз. Борода у Певца рыжая, как у викинга, нос тонкий, глаза черные. Он всегда чувствовал призвание к музыке. Еще на школьных парадах был главным барабанщиком; каждое двадцать восьмое января все родственники сходились в Центральный парк посмотреть, как «наш мальчик» выступает парадным шагом. Мальчик отбивал барабанную дробь, а они аплодировали в восторге — чудо как хорошо! Родные

радовались еще и тому, что наконец наступит долгожданный отдых после бесконечных репетиций, сводивших с ума весь дом. Потом мальчик учился играть на скрипке у Висенте Вильявисенсио, заместителя третьей скрипки оркестра филармонии. Пока что замещать третью скрипку не требовалось, и сеньор Висенте свертывал сигары в своей маленькой лавчонке на улице О'Рейли, а также давал уроки (правда, учил не столько играть на скрипке, сколько свертывать сигары). Певца он тоже обучал и тому и другому, потому что человек никогда не знает заранее, какую песенку заставит его петь жизнь. Юноша выучил на слух «Ча-ча-ча» из «Голубых ночей» и играл на пианино в Спортивном казино, где по пятницам собиралась небольшая компания молодежи. Они приходили в казино зимними холодными вечерами, когда волны с севера бились о рифы, клуб пустовал, но они были тверды и являлись в шортах, уверяя, что совершенно не чувствуют холода, хотя ноги их покрывались гусиной кожей. Певец предлагал выпить бутылку-другую, и тогда все менялось. «Дома и в кафе, всюду и везде, танцуем ча-ча-ча, стоит лишь начать, увидишь сразу сам, как жизнь хороша!» Он стал уличным певцом. Потом артистом, кубинским артистом. Сколотил трио, и они играли в погребках и барах. Приходилось и аккомпанировать на мараках\*, но в конце концов он все-таки выбрал гитару. Темно-красная гитара висит у него на шее на белом плетеном шнуре. Гитару завещал Певцу Луперсио Родригес, мулат из трио, он сочинил и играл на этой гитаре двести двадцать четыре гуарачи и тридцать девять болеро — все посвященные Нерейде, упрямой блондинке с улыбкой богини и кошачьими глазами. Однажды ночью в припадке ревности Луперсио ударил ее киялом — другого выхода не было. С тех пор он гниет в тюрьме дель Принсипе. В один прекрасный день в дверь Певца постучали и принесли футляр красного дерева, похожий на гроб, а в футляре лежала гитара, битком набитая песнями. Он сменил на ней струны и потом долго полировал; привыкал к ней постепенно, тихонько перебирал лады, чтоб отлетели горькие воспоминания; и все-таки в глубине ее легкого

---

\* Музыкальный инструмент из высушенной тыквы с зернами майса внутри.

тела по-прежнему жила, звенела тоскливо память о Луперсио, ревнивом мулате.

С тех пор Певец всюду, куда бы ни отправился, носил с собой гитару. С ней побывал он в Оро де Гиса на сборе кофе и пел серенады всему поселку. С нею ездил косить траву на остров Пинос. Пел на табачных полях в Эль Дивино Платон, первой орошаемой плантации в Сан-Луисе, недалеко от Пунта-де-Картас, где рыбацкий кооператив. Побывал на сафре в Эль-Параисо, там ночевал на птицеферме, и куры подымали крик всякий раз, как он брался за гитару. Ездил в Хурагиа с отрядом молодых коммунистов на прополку банановых плантаций и пел столько, что охрип, и пришлось целую неделю по три раза в день есть желтки с медом. На сафре в Лос-Арабос Певец выступал в субботний вечер в местном клубе; клуб ломился от молодых девушек, они заставили Певца дать не меньше сотни автографов — приняли его за того блондина, что играл Эрика Рыжего в телепередаче. Вместе с крестьянами Флориды Певец сочинял песни на покосе пастбищ и даже подцепил там чесотку. Был на сборе лимонов в Банесе и целый день играл на гитаре на пляже Гуардалабарки, глядя, как пришвартовывались и уходили в море лодки охотников за акулами. Ездил в Аригуанабо на картофель и там пел дуэтом с одной прелестной блондинкой «Тогда в девяносто пятом в зарослях Майари». Спал на вольном воздухе где попало, в гамаке, подвешенном между двумя пальмами, слушал ритмичное бормотание цикад. Оставив одежду и гитару на траве, бросался в воды Кауто. Ел вяленое мясо, рис, свиной шашлык, морских черепах, зеленые бананы и похлебку из овощей и мяса с перцем; собирал по пути фрукты в шляпу и ел на ходу манго, мамей, аноны, мамоны и апельсины. И так он шел, шел и шел по своей доброй воле от плантации к плантации и всюду пел и работал мачете или мотыгой, зимой и весной, и все пел, пел и громоздил камень на камень, камень на камень, и прорубал просеку за просекой, просеку за просекой, нес на спине мешок да гитару и все пел, и пел.

«Пой, Певец! — кричит Дарио. — Веселее будет. Развей грусть». И Певец запевает: «Жили были трое братьев. — Голос его так и звенит озорством. — Трое братьев-моряков». Хохот. Ну и дьявол же этот Певец!

«Нам бы, братцы, поразмяться, нам бы сплавать далеко. Вот пришли они к Колумбу, встали пред Колумбом в ряд. Шеф, бери-ка курс на Кубу — так Колумбу говорят». Ну и Певец, вот окаянный! Трое братьев Пинсон действительно существовали, они участвовали в первом походе Колумба. Во втором походе лопцманом был бискаец по имени Хуан де ла Коса, который, конечно, только и делал, что распевал старинные куплеты Минго Ревульго. И именно в этом походе великому адмиралу пришлось в голову взять семена сахарного тростника и посеять их на острове Эспаньола. А уже оттуда тростник, видимо, завезли на Кубу участники путешествия Веласкеса 1511 года или, может быть, те, что спасались от нашествия термитов в 1518 году. Во всяком случае, в это время на Кубе уже производили сахар. Впрочем, Сако говорит, что в 1544 году на Кубе не было еще ни одного сахарного завода. Другие же утверждают, что неизвестно, производился ли сахар на Кубе вплоть до 1547 года. В этом году был основан первый небольшой сахарный завод и выписаны мастера. Короче говоря: «Шеф, бери-ка курс на Кубу — так Колумбу говорят. Но Колумб был вредный малый: что на Кубе я забыл? Королева б приказала, я бы в Индию поплыл!» До чего же спину ломит, ребята, сдохнуть можно! А у меня в глотке пересохло.

Опять тишина. Только свист мачете. Певец отправился на межу. Выпить воды. Отдохнуть. Выкурить сигарету. Дарио продолжает рубить. Папашины нарукавники развеваются далеко впереди. Этот никогда не устает! Ни ветерка. Надо взять себя в руки. Чертов тростник! И вдобавок какие-то волоконца забираются под одежду, все тело чешется. Пришлось притащить целое ведро золы, натирать кожу. Есть тут такая скверная трава, она, подлая, вьется вокруг стеблей тростника. Видишь, черные коробочки висят, а в них эти самые волокна. А Папаша все рубит да рубит, хоть бы что, ничем его не проймешь. То и дело кто-нибудь с криком бежит к ведру с золой. Вымажется весь, как индеец, скребется. У Нельсона, того, что недавно из гамака вывалился, уже все тело в разноцветных волдырях. Нет, Папашу не догнать, никак не догнать. Дарио нагибается. Мачете выскальзывает из рук, ударяется о камень, подпрыгивает... Хорошо, что по

перчатке попало! Чуть было не порезался. У Дарио и так уже левая рука три раза поранена. А не так давно ему пришлось ходить на уколы в поликлинику в Морон, вводили противостолбнячную сыворотку. Иногда не удержишь мачете, прямо скачет из рук. Маноло Каньяверде порезал ногу так, что целую неделю хромал, а Исразль ходит с завязанным глазом, как Рубираса, — напоролся на стебель. Здесь все может случиться. Мавр лечит ребят какими-то отварами. Хорошо бы еще раз спину растереть. И руки. И все тело. А Франсиско-чахлику пришлось один раз даже искусственное дыхание делать. Надо догнать Папашу. Папаша говорит, что вообще-то он уже старичок, просто современная молодежь — все дохляки. Рубить тростник — это же развлечение, спорт! Ты должен догнать его, Дарио.

Но молодежь, товарищи Дарио, предпочитали раньше другие развлечения, своего рода неспортивный спорт. Кегли. Биллиард. В Сентро Астуриано и в Гуанабо играли в кегли, кости, пили пиво. Вроде бы ты покончил со всем сразу — как пустишь шар изо всех сил, он покатится и — раз! С одного удара развалит весь этот правильный неподвижный мир, составленный из ровных палок. Одним словом, *strike*\*. Ну и в мяч то же самое. Однако негритенок-служащий тут же восстанавливает порядок, старательно расставляет кегли, одну рядом с другой, быстро наклоняется и выпрямляется, сам похожий на кеглю. А еще заманчивее биллиард. Тут дым коромыслом, и выпивка, и возбуждение от марихуаны. Из рук в руки, ну-ка, будь мужчиной, возьми, затянись, а потом передай дальше. Здесь смеются над всякими чувствами, рассказывают неслыханные истории о женщинах, носят нож в кармане; сюда приходят наивные игроки, невинные как голуби; сначала им везет, а через какие-нибудь полчаса они выкатываются голенькие, ощипанные дочиста. Здесь — человеческие джунгли, где ты всегда окружен опасностями, рискуешь каждую минуту... главное — ловкость, не то запутаешься, попадешься в ловушку, в западню. Ты должен разбить треугольник на две сто-

---

\* Удар (англ.).

роны карамболом. Ты натираешь мелом кий с таким видом, словно именно от этого зависит меткость удара. Играют на сигареты, на пиво для всей компании. И ты, конечно, рискуешь своей шкурой, потому что, входя в эти двери, ты не знаешь, чем будешь платить, если окажешься в проигрыше. Случалось и Дарио пульс вылетать из заведения, а вдогонку за ним мчались и хозяин, и Данило, и Пепе, и Гуахиро, и другие приятели, и, наконец, весь квартал вкупе с полицейскими, возмущенные его наглým мошенничеством, потому что денег у Дарио, разумеется, не было.

Впрочем, все становилось на свои места, как только удавалось раздобыть хоть какую-нибудь работу. Дарио устраивался курьером, служащим, чьим-то временным заместителем, грузчиком, кондуктором, кем угодно, лишь бы заработать честно пару песо, потому что он никогда не крал и не обманывал и ни разу никого не обыграл, как Педро Поляк, который носил на золотой цепочке изображение святой девы де Каридад, являющейся трем рыбакам, и черный амулет, обладавший колдовской силой. Получив работу, Дарио приглашал приятелей в Эппль-клуб: «Тим получил — Тим угостил». Тим — Дарио платил за всех, и больше никто на него не сердился, и он опускал монету в машину, в разноцветный стереофонический проигрыватель, и шесть раз подряд слушал, как Эльвис Пресли поет «You arn't nothing but a hound dog»\*.

В Эппль-клубе почти всегда можно было встретить классического американского туриста: мараки торчали у него из карманов, и он, конечно, спрашивал, где тут бой быков и как зовут вон ту beautiful\*\* сеньориту, крашеную блондинку, которая махала ему рукой из дверей соседнего дома терпимости. Никто из присутствующих не мог понять иностранца, поскольку дальше «Tom is a boy»\*\*\* из учебника Джоржина для начальной школы они так и не пошли, а beautiful сеньорита Тамара стремилась разъяснить туристу, что надо спросить разрешения у мамочки, толстой владелицы двух веселых домов. И тут Дарио выступал в качестве переводчика (надо же было договориться обо всех этих

---

\* Ты — просто гончая собака (англ.).

\*\* Прекрасная (англ.).

\*\*\* Том — мальчик (англ.).

делишках и выпивках) и кое-как выговаривал несколько фраз на ломаном английском с таким видом, будто он родился в Бруклине, в Нью-Йорке, самом большом городе мира.

Туриста вели смотреть Эль-Морро, Кастильо-де-ла-Фуэрса, Центральный парк и памятник Марти, на который как-то раз помочился пьяный американский матрос, а потом — в бар Слорпи Джо возле Прадо, а потом — покупать сумки, туфли, пояса и ремешки для ключей — все из крокодиловой кожи, и даже самого крокодила, маленького, но с разинутой широко пастью и острыми зубами — его убил ударом ножа в жесткой схватке некий человек-обезьяна, ну вроде Тарзана. Американец фотографировал все подряд своим портативным кодаком, потом просил Дарио запечатлеть его самого рядом с Тамарой, с сеньоритой, в знаменитом баре Слорпи, и застегивал яркую нейлоновую рубашку, всю в пальмах и негритянках, танцующих с хула-хупом. Наконец пьяного до полного бесчувствия туриста тащили к Фелипе, в отель Ариете; сваливали на кровать, и, пока он храпел, сеньорита Тамара вдвоем с Фелипе очищали его кошелек, карманы, забирали и кодак, и крокодила, и мараки — память о прекрасных днях, проведенных в Гаване, столице румбы, тумбадоры \* и «Бакарди» \*\*.

Если приходилось совсем плохо, Дарио шел в ломбард. Здесь принимали в залог украшения, обувь, кухонную утварь, электроприборы, рубашки, брюки, часы, постельное белье — все, что угодно. Подпиши только квитанцию, а в ней говорилось, что, если через столько-то дней ты не выкупишь свою вещь, она поступает в собственность фирмы в качестве компенсации за выданную сумму. На самом деле не совсем так: в некоторых случаях дозволялось получить залог обратно с небольшим опозданием, конечно если немного приплатишь. Иногда в ломбарде можно было раздобыть по дешевке какую-нибудь вещь, которую владелец не смог выкупить, однако многие говорили, что это приносит беду, а кроме того, кто знает, вдруг прежний обладатель вещи умер от какой-нибудь заразной болезни, и вообще — мало ли что... Дарио большей частью лишался всего,

\* Народный кубинский музыкальный инструмент, напоминающий барабан удлиненной формы.

\*\* Кубинский ром.

что закладывал, хотя, по правде говоря, не так-то уж много у него имелось вещей, годных для ломбарда.

Единственным сокровищем Дарио был костюм, коричневый, в полоску, заказанный в «Эль Соль», первый взнос — 15 песо и потом по 5 песо в месяц в течение полугода, потому что «фирма «Эль Соль» всегда готова пойти навстречу клиенту». Дарио упивался собственной элегантностью: на внутреннем кармане пиджака — на трех пуговицах и с разрезом сзади — красовалась марка «Эль Соль», она бросалась в глаза всякий раз, когда Дарио (разумеется, совершенно случайно) распахивал пиджак, просто для того, чтобы достать ручку «паркер» — записать кое-что на память, к примеру телефон девушки, покоренной на одном из воскресных вечерних балов в Сентро Гальего; а ведь как долго пришлось уговаривать швейцара, чтоб впустил, и вот наконец Дарио тут и подружился с девушкой, которая умеет танцевать пасодобль, и смеется, и вскрикивает «Оле!» так, будто родилась в Севилье. Они припрыгивают под звуки флейты (болеро, а темп какой, словно гуаганко!) и все танцуют, танцуют, потому что если остановишься, то придется пригласить ее выпить чего-нибудь, за пиво же здесь берут тридцать сентаво, а за лимонад — десять, да еще старуха, то ли мать девушки, то ли тетка или соседка, тотчас тут как тут, и начинается: «Ах, какая ужасная жара! И как можно столько времени танцевать, это же просто обезвоживание организма!» Потом они усаживались рядом на деревянные кресла и болтали о последних картинах и телепередачах и о том, кем каждый из них станет в будущем; они были молоды и мечтали о счастье, о богатстве и о любви. Впрочем, в любовь верить не стоит, все равно рано или поздно разочаруешься; Мерседес вышла замуж, и о любви нечего больше разговаривать. Но все-таки, вдруг... Никогда нельзя зарекаться; кто знает, ведь может случиться... И тут оркестр начинал еще одно болеро, становилось грустно, казалось, мир близится к гибели, и никто уже не нужен, и они прижимались друг к другу, не сильно, совсем чуть-чуть, потому что их предупредили, что здесь следует вести себя прилично, и ладони влажнели от волнения... А оркестр неожиданно менял ритм и переходил на залпхватскую песенку «Остановись же, шарик, постой, остановись, та-та-ра-та-ра-та-ра-та, постой, остановись»; они останавливались и

смеялись, стараясь попасть в такт, а оркестр уже играл конгу \*, раз, два, три, до чего же здорово, хоровод тянется до самого первого этажа, а там — толкотня, и старуха уже их разыскивает, беспокоится, потому что в такой давке кто-нибудь обязательно ушибнет девочку. А потом шли через Центральный парк, спускались по Епископской улице, рассматривали витрины Магазина современной поэзии и «Ла Раскелья»; Дарио спрашивал, как бы между прочим, какой галстук, по ее мнению, подошел бы вот к этому коричневому костюму, который на нем сейчас; он давал ей свой телефон (в их доме были телефоны в каждом коридоре, но, конечно, не наверху, где жил Дарио) и, воспользовавшись случаем, доставал свою дешевую, под «паркер», ручку, распахнув пиджак так, что виднелась марка «Эль Соль», символ элегантности и аристократизма.

В ломбарде тоже полагалось соблюдать определенный этикет: принесенную в заклад вещь тщательно ощупывали, смотрели, не истрепаны ли обшлага брюк, воротник пиджака, рукава, разглядывали все подробнейшим образом и наконец объявляли решительно, что больше трех песо дать невозможно, и то только так, чтоб сделать одолжение, потому что именно костюмов у нас более чем достаточно. Тут надо было говорить: «Ну нет, что вы, рисковать такой вещью из-за трех песо!» А на это отвечали: «Так как? Оставляете или берете? Дела идут очень плохо, никто почти ничего не покупает». Но Дарио не сдался. Он забрал костюм и отправился в другой ломбард на улице Агуакате между Лампарилья и Обрапиа, почти прямо против трех дешевых публичных домов с зелеными дверьми и железными жалюзи, из-за которых слышались то посвистывание, то воркующий голос: «Иди ко мне, цыпленочек, иди ко мне». Хозяин ломбарда, еврей с крючковатым носом, долго торговался, никак не соглашаясь на три пятьдесят; он разговаривал с другими клиентами, рассматривал принесенные в заклад жалкие тряпки в лупу, словно драгоценности, что-то кому-то продавал, возвращался опять к Дарио, задавал ему какие-то вопросы... В конце концов Дарио оставил костюм и с грустью смотрел, как его единственное сокровище исчезало в шкафу, про-

---

\* Кубинский народный танец африканского происхождения.

пахшем нафталином. Однако юноша не терял надежды выкупить костюм.

Целых два месяца не ходил Дарио в Сентро Гальего и, конечно, потерял едва приобретенное знакомство. Что делать, нельзя же явиться без костюма на смех всему миру; да вдобавок еще он обещал сводить ее в «Тропикану», самое шикарное в мире казино, посмотреть шоу, там Родней поставил несколько танцев из фильмов. А если купить куртку из дрилла, так она стоит не меньше семи песо, да к ней нужны еще подходящие брюки, не то будешь выглядеть как сельский парень на вечеринке. Любовь много чего требует: нужен приличный костюм или куртка и вообще ты должен иметь вид солидного молодого человека, про таких говорят — «хорошая партия», может и на шоу пригласить, и в кино, работает, носит воротничок и галстук, словно банковский служащий, говорит по-английски, снимает квартиру в Ведадо с горячей водой, телевизором и газом — не в баллонах, а в трубах! — мечта всех домохозяек.

Так уж устроен мир, и приходится с этим считаться; нечего уноситься мечтами в небеса, иди закладывай костюм, выкручивайся всеми способами, чтоб раздобыть два-три песо. Жизнь прожить — не поле перейти. Девушки тоже не слишком-то церемонятся, каждая всякий раз ухитряется разузнать точно, сколько ты получаешь, сможешь ли прокормить семью, потому что дома она нагладелась, как надрываются отец с матерью, просят в долг у встречного и поперечного, и твердо решила устроить свою жизнь по-другому; а все повести о бескорыстной любви Корин Тельядо, что каждый месяц печатают в «Ванидадес», — это только так, для развлечения, да и времена теперь другие; все стало практичным, гляди в оба, не то хлебнешь горя вдоволь.

Наконец Дарио удавалось скопить необходимую сумму. Он надевал возвращенный костюм, немного помятый, останавливался возле чистильщика и, пока ему чистили ботинки, победно поглядывал на прохожих: костюм уже на нем, теперь оставалось лишь покорить мир. Он прохаживался по улице Сан-Рафаэль не спеша, весь такой интересный, доставал из кармана белый платок, надушенный «Герлейн» (духи добывал по знакомству Маноло), вдыхал терпкий запах жасминов, разглядывал афишу возле кино «Рекс» или «Дуплекс», где в просторном вестибюле ставили иногда рояль и

какой-нибудь юный гений исполнял ноктюрны Шопена; посмотрев «Новости со всего мира», люди выбирались из зала почти на ощупь, так как вестибюль освещался только канделябрами в стиле прошлого века (так требовал исполнитель, чтобы создать «интимный колорит»). Дарио шел вместе с толпой до Галиано, как бы случайно замедлял шаги на углу улицы Эль Энканто, и какая-нибудь проститутка из утонченных, по три песо, приглашала его, но он отказывался и входил в бар «Роселанда». Заказывал кружку пива «Песья голова» — говорили, что оно питательное и придает бодрость, — и слушал старые пластинки, а рядом пьяные болтали, кричали, пели, обнимались и поднимали такой шум, что в конце концов являлся полицейский — он наводил порядок, получал положенную мзду. «Прошу вас, сеньоры, выражаться не разрешается, у нас квартал приличный, здесь живут люди порядочные».

Наутро оказывалось, что костюм весь в пятнах, и не оставалось другого выхода, как отдать его в чистку; механизированная чистка и крашение, улица Вильегас, угол Обрапия; держали это заведение уроженцы Ортигейра и брали восемьдесят сентаво за сухую чистку и утюжку, но зато теперь Дарио был готов начать все сначала. И он начинал все сначала.

Срубить, поднять, отбросить. Срубить, поднять, отбросить — три неизменных до сего дня этапа работы на плантациях сахарного тростника. Рубят с помощью мачете, которые в течение многих лет поставляли англичане и испанцы, а со второй половины XIX века — американцы. С тех пор вошло в обычай пользоваться мачете фирмы «Коллинз». С рассветом отправляются на плантацию повозки, везущие рубщиков и сборщиков. Одни рубят, другие складывают — такой порядок установился еще с XVIII века. Число рубщиков, сборщиков и возниц меняется в зависимости от расстояния плантации до завода и потребности в тростнике. Возницами ставили всегда самых сильных людей не потому, что эта работа тяжелее других, а потому, что она чередовалась с работой кочегара — 8—9 часов езды на повозке и 8—9 часов изнурительного труда у котла в удушающей жаре. На втором месте по силе стояли рубщики, хоть и не всегда. Например, на предприятии Ла Нипфа в Аранго и в Парреньо рубили и складывали тростник исключительно женщины-негритянки. Они срубали в среднем до 300 арроб в день. На заводе Рио Абахо в Тринидад средняя дневная выработка одного рубщика равнялась 400 арробам. Эти цифры подтверждают все специалисты и документы. На плантациях белого тростника в Отанти, дающих в целом 80 000 арроб, средняя дневная производительность хорошего рубщика составляла 600 арроб.

Техника рубки все та же и в наши дни. Срубить надо как можно ниже. «В идеале — под землей», — как говорит Рейносо. Удар должен быть коротким. Потом надо оборвать листья, снять верхушку, которая идет на корм скоту, и разрубить стебель на куски длиной в одну или две вары \*. Сборщики — самые слабые из всех, многие помещики предпочитали

---

\* Вара — мера длины (83,5 см).

брать на эту работу женщин. Дети-креолы и «тощая скотина», т. е. рабы-инвалиды, тоже работали на плантациях: они собирали оброненные стебли. За быками смотрели малыши от 3 до 7 лет.

М. Морено Фрахиальс, *Сахарный завод*,  
1964.

... пониже, пониже, Пако, вот так. Ты должен призвать на помощь все свое умение, учение, терпение, мучение, исступление... Теперь надо содрать верхушку, прочь все лишнее! Прочь! Теперь одним ударом разрубим стебель. Ну-ка, изо всей силы! Ну и крепок же стебель! А теперь отбросим назад, р-раз! Хорошо получилось! Это самое трудное. Придется здорово поломать хребет. Хребет — это ведь говорится только о животных, ну вот я и говорю. Ну-ка еще: удар! Нет, не получается. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, проклятый! Отбросить! Отправляйся-ка к своим родственникам. Хорошо. А теперь начнем снова. Если ударить тупой стороной мачете, стебель сам свалится. Сначала надо срезать верхушку. Какая зеленая. Зеленая, как изумруд. Эх, промахнулся, надо было ближе к середине. Ну-ка, поломай хребет. Черт возьми, я его вырвал с корнем. Весь в земле, весь-весь в земле. В кучу его! Ну и мокрый же я, просто обливаюсь потом. Остановимся на минутку. Дарио смотрит. Не буду останавливаться, а то он подумает... Ну и пусть думает! Вообще-то, конечно, я никуда не гожусь. Надо попросить Папашу наточить мачете. Папаша идет впереди, он всегда первый. Вот уж этот стебель длинный так длинный! Сейчас мы его рубанем — здесь, здесь и здесь! Не туда бросил, мимо кучи попал. Ничего, потом подберу. А этот стебель внутри весь красный, как интересно. Может, негодный, больной какой-нибудь? Ну, на всякий случай... Лети-ка, милый! Хороший бросок. И совсем нетрудная работа. Стоит только набить руку, а там начну срубить по двести

арроб. Ну не по двести, так по сто, это уж точно. Во всем нужна сноровка. Конечно. Видимо, одну ногу надо выдвинуть вперед. Папаша так все время стоит. Главное — уловить ритм. Вот, этот сам свалился. Ну-ка, посмотрю на волдырь на ладони. Ух ты, прямо живое мясо! Вот именно — живое. Что ж, жив курилка и хвостиком вертит. Ох, как горит волдырь! Со мной никогда такого не случалось. В жизни не бывало у меня волдырей. А теперь — вот, пожалуйста. Пако надевает перчатку и снова берется за работу. Надо сильнее дернуть, наверно, зацепился за соседний стебель. Вот так! В этом стебле не меньше двух фунтов. А куча-то совсем не выросла. Срезаем верхушку, разрубаем пополам, кидаем в кучу. Ниже бей, смотри, черт тебя дери! «Тростничок мы рубим сладкий...» Была такая детская песенка. Все было тогда совсем по-другому... Давай, стебель, катись в кучу! Нас, детей в крестьянские костюмы, и мы пели... сколько мне тогда было? Лет двенадцать, наверное. Наша учительница музыки целовалась с директором, я видел. А может, показалось. Ох, дьявол! Чуть руку не отрубил! Мы пели хором «Тростничок мы рубим сладкий...» Вот и я сейчас рублю тростничок. А тогда, в двенадцать лет, я исписал стихами целую тетрадь. Я был влюблен в учительницу музыки. Она, конечно, знала — женщины всегда догадываются о таких вещах, — наверно, смеялась надо мной. Читала мои стихи. До чего же спина болит! Учительницу звали Росио. Такого имени я никогда не слыхал. Росио. Росио. Что за прекрасное имя! Потом она ушла от нас. Но это было давно. Давным-давно-давненько. Этот стебель, наверно, гнилой. Сопrotивляется. Не хочет умирать. Врешь, не уйдешь! Ни один стебель не уйдет от мачете, слышишь, тростничок? От острого мачете. А мой мачете затупился, надо сказать старику, чтоб наточил. И надоела эта шляпа. «Держи ее крепко, не то ветер унесет». Какое там! Ни малейшего дуновения. А сколько тут всякой живности. Тростники — как лес, и этот лес населен. Ящерица! Вот и стебли скользят из рук, словно ящерицы. А что, если попробовать брать сразу по два? Этот мачете никуда не годится, не годится никуда! Еще удар. Сильней! Свалился наконец. В кучу, в кучу, в ку-чу-чу-у; пляшешь ты и я пляшу-у. Ты туда, а я сюда-а, попляши-ка, милая-я! Поясница прямо разламывается. Невыносимо. И мы здесь по своей воле!

Как это объяснить? Невозможно! Зачем приехал сюда такой человек, как я? А все остальные — почему они здесь? Если кому-нибудь рассказать, что по своей воле, — не поверит. Только представьте: никому не платят за рубку дополнительно, ни гроша. До-бро-воль-но. На плантациях тростника! Говорят, будто производительность труда на сафре низкая. Врут, наверное. Ну а я-то почему сюда приехал? Еще один стебель с корнем вырвал. Вот просто взял да приехал. Очень уж толстый стебель попался да еще сцепился с другим. Надо сначала этот срубить. А теперь — вот так. Перехожу в наступление. Я приехал именно для того, чтоб рубить. Мне нравится эта работа. Нет, неправда. Зачем человек вечно лжет самому себе? Скажи, Пако, скажи правду. Вот я ударил мачете, как копьем, я поразил врага копьем. Хватит изворачиваться, Пако, сознайся, зачем ты здесь. Я, кажется, двигаюсь вправо. Борозда кончается здесь. Или нет? Наверно, здесь, вот межа с двух сторон, а в середине — посадки. Сознайся же. Стоит ли лгать? Ты один, никто тебя не слышит. Познай самого себя. Надо рубить быстрее. Ну-ка быстрее! Я их догоню. Раз! Удар по верхушке, по стеблю, бросок! Удар по низу, бросок. Вверх, вниз, бросок! Быстрее. Не лги себе самому, Пако. Р-раз! Пополам. Бросок, еще бросок. Мне не хватало воздуха в городе, и я бежал, я здесь спасаюсь. Устал, измучился. Сейчас сяду. Нет, нельзя, Дарио опять смотрит, зараза. Еще удар. Интересно, который час? Достану часы из кармашка. По крайней мере причина, чтобы остановиться хоть на минуту. Сниму перчатку. Без четверти десять. Сколько же будет продолжаться эта попытка? Я больше не могу. Не буду торопиться. Еще один стебель. Тут лежит консервная банка. Пако поднимает банку, заглядывает в нее. «Какая глубина, в тумане не видно дна. Мой взор покрыла пелена, и скрылась мира глубина». Больше не могу, сяду. Только выпью воды. А мачете положу сюда. Говорят, потом не найдешь. Почему не найдешь? Где положил, там и возьмешь. Как иголка в стоге сена. Сквозь эти стебли не продерешься. Не могу больше, умираю. Задыхаюсь, воздуху дайте! Кондиционированный воздух, бокал дайкири. Сидеть бы сейчас в «Полинесио». Надо помахать Дарио, пусть знает, что мне плохо. Не обращает внимания. И как это он не устает? Не может быть, конечно, устает. Просто пре-

одолевает усталость. Силой воли. А у меня вот нет силы воли. Ох... Наконец-то я добрался до межи. Вот и кувшин с водой. Оазис. Из этой кружки все пили. Надо ее ополоснуть. Здесь смеются над такой чистоплотностью. Нечего смеяться, нечего. У каждого свои привычки. Плохого тут ничего нет. Вода согрелась. Ладно, какая ни на есть, все-таки вода. Ну вот, напился. Жаждающего напои, голодного накорми. Царствие мое не от мира сего. Это он имел в виду тростниковые плантации. Царствие кубинских полей. Посижу немножко здесь, в тени. Здесь, под ветвями, в прохладной тени... какая тут рифма? Дни? Нет, одни. Здесь, под ветвями, в прохладной тени, видно, настали последние дни... Попробовал бы кто-нибудь сочинять стихи и одновременно рубить тростник. В ушах звенит. Дарио машет, ни за что не даст отдохнуть, иду, иду, иду... только потихоньку. Нет, не могу подняться, и все тут. В конце концов, я здесь добровольно. И если я не могу, значит, не могу. Теперь я опять продвигаюсь по борозде. Спина болит ужасно. Я — слюняй. Надо взять себя в руки. Стоит только захотеть. Захотеть. Внушить себе. Сила внушения очень велика. До чего же здесь погано! Гораздо хуже, чем я себе представлял. Я думал, что буду героем... Хотел пьяница море выпить, а трактирщик стаканчик поднес. Где я оставил этот нож, мачете или как его там? Вроде бы тут. Не могу нагнуться. Рядом с ножом еще валялся обломок стебля, я помню. Потерялся. Ну и пусть, и хорошо! Нет, его же нетрудно найти, такое длинное лезвие и деревянная ручка, сразу видно. Я здесь останавливался. Срубил вот этот стебель и решил напиться. Тут еще банка валялась. Вот он. Нашелся, окаянный. У меня на руке — кровавый волдырь. Не могу больше, не могу. Неужели Дарио не понимает, что я больше не могу? Уда-а-а-р! А теперь поднять стебель. Чуть было не упал. Голова закружилась, упаду, сейчас упаду. В глазах темно, не вижу ничего, все черно, падаю, падаю, холодный пот по всему телу, нет, я не должен упасть, в глазах темно, тошнит, тошнит; кажется, мачете опять уронил. Мне уже лучше, опять холодный пот, но все-таки уже лучше. Ну и ну! Вот я и очнулся. Я тут. Упал. Лежу на земле. Что это подомной? Та самая консервная банка! Хорошо еще, что не свалился на муравейник. Надо отдохнуть. Болит все. Не встану. Не могу. Гори все огнем, плевать на все, не

могу, не могу! Уеду сегодня же, мне надо закончить одну работу, я с самого начала думал пробыть здесь всего несколько дней. Так я и скажу всем. Дарио, конечно, не поверит, я ему раньше говорил, что пробуду всю сафру. Но ведь кто выдержит такое?! Я не могу, не могу! Надо взять себя в руки. Вот я и встал и буду дальше рубить! А теперь опять передохну. Поднимайся, Пако! Ну-ка бодрей! Если б не солнце. Солнце палит так, что камни плавятся, а ведь еще только апрель; кто же тут выдержит в разгар лета? Ну вот, еще раз посидел немного. А теперь будем снова гнуть хребет. Так ударил по стеблю, что чуть не сдох. Надо отбросить срезанный стебель назад. Левой рукой на правую сторону. Наклон — ударим пониже. На этой работе все чувства притупляются. Опять мне плохо, умираю... Рука болит, поранил мачете. Если бы я хоть мог работать толком, а то ведь все равно не могу, я не создан для физического труда; простой кубинец проводит целые дни под палящим солнцем, такова его судьба. Только это не для меня. Надо позвать Папашу, пусть наточит мой мачете. Не слышит. Работает как автомат. По собственному желанию. Трудно поверить. Не может человек дойти до такой степени мазохизма. До чего же я измучился, нет сил даже позвать его погромче. Я чувствую себя так, будто меня избili палками. Посажу опять, можно еще немного отдохнуть, ничего страшного. Снова я упал. Прямо на кучу срезанных верхушек тростника. Лучше уберу их из-под себя, а то они колючие. В руку вцепились, ой-ой-ой, в волдырь! Надо вытащить, да на это сил нет. В горле пересохло. Выпить бы еще немного воды, но придется опять вставать, идти... Возьми себя в руки, Пако, ты должен взять себя в руки, а то умрешь от жажды. Бодрее! Вот я и поднялся. Спина — словно меня били плетью; я уже почти встал, одной рукой опираюсь на колено, и не на что больше опереться, я качаюсь, по я все-таки выпрямлюсь. Вот так, стоять, сто-я-ать! «Он крикнул «встать!», и встали все». Нечего кричать. Никто не обращает никакого внимания, Флоренсио помешался на городке... На каком городке? На тростнике, на тростнике, я сказал — «на тростнике». Какое мучение! И никто не хочет понять, что я все-таки счетовод, со мной полагается обращаться бережнее, чем с другим, надо уважать образованного человека. Я, например, не могу рубить це-

лый день тростник. Я так и сказал Флоренсио. А он что ответил? Ну и катись отсюда. Грубиян. Вот и уеду. Сейчас же! Он не понимает, что я не могу. Он должен был ответить: «Хорошо, товарищ, отдохните немного», а он рычит: «Не хочешь рубить тростник, катись к своей маме». Не знаю, как я промолчал. Выпью еще воды. С каждым разом она все мутнее и теплее. Ее нагревает солнце. И все-таки это вода. Жаждущего напои. Посидеть бы здесь в теничке. Нет, нельзя, надо работать. Главное — не сдаваться. Тростник — тот же лес. Я обливаюсь потом. Голова кружится. Я скажу Флоренсио: у меня голова кружится, мне надо отдохнуть немного, а то я могу заболеть серьезно. Ему, конечно, все равно, ну а мне — нет, мне — нет. Вы не понимаете, что это значит для такого человека, как я, — покинуть город со всеми удобствами. Я все-таки не простой человек. И вот я приехал сюда, в этот ад. Вы не можете понять, каково мне, товарищ Флоренсио, вы грубый человек, товарищ Флоренсио, вы всю свою жизнь только и делали, что рубили тростник, товарищ Флоренсио. Да взвешивали — нетто, брутто. Брутто. Брут. Вы Брут, товарищ Флоренсио. Тот самый Брут, что Цезарю капут. Вы грубиян. Странное какое слово. Грубиян. Рифмуется с пьян, океан, ураган, туман, кафешантан, сан... Вон он, Флоренсио, ломает хребет. И поглядывает на меня искоса, косится. Косись, косой! Подумаешь, начальство! Ну не могу я больше, не могу. Каждый делает что может. Не проси от быка молока, его доля и так нелегка. Еще глоток воды. Ух, все лицо облил. Да иду же, иду, нечего меня звать! На этот раз я скажу Флоренсио твердо: я больше не буду рубить тростник. Как щедро здесь земля, сколько жизни! С каждым шагом взлетает из-под ног целый мир. Он этого не понимает. Я хочу остановиться, поглядеть на полную чудес жизнь, потрогать зверюшек и насекомых, что скачут и роятся вокруг меня. Флоренсио сказал: мы здесь для того, чтобы резать тростник, а не сидеть на меже да глядеть по сторонам. Специально для меня говорил; конечно, намекал. Опять мечете куда-то деяться. До чего я устал, нет сил даже поискать его. Вот он, тут как тут, никак не теряется! Что же делать? Глупо стоять на месте, как бык, и обливаться потом. Ну-ка, попробуем свалить вот эту компанию! Тут их много. Стебля три или четыре. А мечете тупой, надо его наточить наконец. Ну-ка, взяли!

Взяли! Пониже. Плохо, высоко срубил, остался довольно длинный стебель. Ну и ладно, не буду я еще раз наклоняться; нет, придется пагнуться, а то, говорят, если оставить длинный стебель, тростник не взойдет больше на этом месте; устал я, не могу, но надо же сделать все как следует; полагается срезать низко, под самый корень, да ну, неважно, никто не узнает. И потом — ну вырастет на один стебель меньше, какое это имеет значение! Одна ласточка весны не делает, за весною лето, знаем мы это; летом здесь и вовсе сдохнешь. Ну вот и срубил как полагается! Вот это называется быть сознательным. Человек борется с самим собой. Наверно, у меня много сознательности. Вот я человек, а это вот — тростник. На! Из последних сил рубанул. Вот и правильно, падай, падай, тростничок-толстячок, ты вались на бочок, на бочок! Ох, как рука болит! Больше ни минуты не выдержу. До какого часа мы должны здесь быть? Уйду, когда захочу, и все, я доброволец. Вот сию минуту возьму и уйду. Позову Флоренсию и скажу: возьмите ваш мачете, я не хочу умирать таким молодым. Да, но тут дело чести. Не могу я так опозориться! Моя честь — это моя честь. Вались, вались, тростничок! Нет, слабо ударил, не срубил. Я весь в поту. В горле пересохло, высохло, иссохло, но идти опять пить я не могу. А съем-ка я тростник. Ну-ка, толстячок, вот ты на что пригодился. Нет даже сил очистить стебель. А где мои часы? Неужто час? Что там Дарио кричит? Уже все? И слушать не хочу, товарищ Дарио, вот теперь ты узнаешь, каков Пако; Пако — молодец. Я остаюсь, я еще немножко порублю. Раз, раз, раз! Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Фу, дьявол, они уже уходят. Видано ли такое? Эй! И ухом не ведут. А я только что во вкус вошел...

Кроме того, в жизни молодежи их квартала существовала опасность. И борьба. Движение. Пора покончить с режимом преступлений, с злоупотреблениями. И тем самым — с нищетой. Дарио и его товарищи не очень ясно представляли себе, как это сделать, но все они чувствовали себя готовыми бороться против тирании. Ребята по-прежнему ходили и в Эппль-клуб, и в «Дос-Эрманас», и в дом Марины, где женщины стоили три песо и можно было выбирать их по альбому с фо-

тографиями, но потом отправлялись на площадь Карлоса Третьего, заказывали китайский суп с пережаренным рисом и ждали каких-нибудь вестей или поручений от Движения. Отошли в прошлое вечеринки, оканчивавшиеся дракой, никто больше не бросался бутылками во «врагов» — ребят из соседнего квартала, никто не напивался пивом «Ла Кристалль» — теперь нужна свежая голова. Все мы товарищи, заговорщики, революционеры. Борьба и тайна сроднили нас.

И вот рано утром, не в первый уже раз, в тот час, когда по пустым улицам дребезжат старые грузовики с молоком категории А и категории Б, что, впрочем, совершенно одно и то же (отличие только в количестве подлитой воды), когда в пустых ночных автобусах дремлют кондукторы, из булочных пахнет свежим хлебом — такой теплый, домашний запах, — кошки, собаки и оборванцы роятся в мусорных баках; в широких портах шикарных магазинов спят, прикрывшись старыми газетами, бездомные дети, а на углу вспыхивает и гаснет неоновая реклама «Все по 10 центов»; в барах умолкли проигрыватели, в запертых кафе стулья стоят вверх ножками на столах, и какого-то пьянчугу рвет прямо посреди улицы Драконов; в час, когда люди тревожно дремлют (будет день — будет хлеб, но и новый день — такой же, как вчерашний), когда неполная луна — не голубая и не белая, потому что все вокруг кажется серым и странным, в этот час Дарио — сердце его бешено колотилось под мокрой от пота рубашкой — швырнул гранату и бросился бежать. Он слышал за собой взрыв и все бежал, потом — вой сирены, возгласы, а он все бежал, бежал... Его не поймали.

Но однажды за ним гнались долго, он пробежал уже целый квартал, за спиной кричали: «Сдавайся, все равно не уйдешь!» Дарио промчался по Тенненте Рей, поднялся по Агуате и ворвался в дом Уилфри, но там испугались и прогнали Дарио; он вышел из дома Уилфри и снова побежал, а за спиной выла сирена, свистели пули, кто-то кричал: «Убью, сукин сын!» Все двери были заперты, улица пуста, Дарио безоружен, и не от кого ждать помощи... Конец. Он спустился по Лус и вбежал в дом, где жил Данило со своей бабушкой; Данило был немец, а бабушка его мулатка. Они проснулись и, не поняв, в чем дело, принялись кричать: «Помогите, помогите!» — а потом поняли и стали умолять

Дарио, чтобы он ушел: «Ради всего святого, не губи нас!» Дарио кинулся на галерею, хотел залезть в бочку для воды, но она оказалась полна, полна до краев и вся облеплена скользкой плесенью. Тогда Дарио прыгнул вниз, на другую галерею, двумя этажами ниже, ноги его дрожали, было так страшно — он один, совершенно один, и нет спасения. И тут что-то ударило его в голову, он упал, и мир стал уходить от него, все куда-то ускользало... и Дарио даже не мог позвать Марту, Марту, Марту...

Придя в себя, Дарио понял, что еще жив; он лежал на полу в комнате с одним окном. Под потолком горела лампочка, голова Дарио была перевязана тряпкой, а рядом стоял человек в форме с плетью в руке. Какие-то люди подняли Дарио, посадили против этого человека; тот ударил его по лицу — очнись! — и сказал что-то, но Дарио не расслышал, не понял. Человек кричал: «Говори! Сознаться!» Дарио молчал, и его снова стали бить — кулаками, ногами, в живот, в низ живота, но он молчал. Тогда его оставили в покое. Прошел день, ночь, еще сколько-то. Ему дали поесть. Было время, чтобы подумать. Ощутить близость смерти. Пропасть между «продолжать существовать» и «перестать быть». Понять, что значит твоя жизнь и жизнь других — Пепе, Луиса, Игнасио, всех, кто зависел теперь от твоего молчания. А ведь их мечты и стремления были совсем не похожи на мечты Дарио. И тогда появилось искушение: заговорить. Сказать все: Луис живет в Бернаса, он связан с Движением, у него есть револьвер тридцать восьмого калибра с четырьмя пулями, он собирает деньги на оружие для партизан, он тоже подкладывал бомбы; а Пепе — сочувствующий, помогает партизанам одеждой, деньгами, сдает кровь, разбрасывает прокламации, он работает на цементном заводе; а Игнасио — коммунист, он не из нашего квартала, дружит с Чучо, а тот работает на железной дороге... рассказать о каждом, о друзьях, о соседях, обо всех, кто против Батисты — вот это так человек! О да, Батиста — прекрасный человек, убийца, бандит и лакей, и как он ласково говорит «привет, привет», когда заканчивает свои речи.

Потом Дарио привели к лейтенанту Эфраиму Капдевилля. Его прозвали Красавчик за черные маслянистые волосы и маленькие усики; лейтенант был всегда гладко выбрит и носил белую куртку, брюки из дрита

и туфли черные с белым, все в дырочках и узорах, на каучуковой подошве, фирма «Раббер», США. Лейтенант с приятной улыбкой спросил Дарио: «Ты хорошо подумал? Ты очень молод». А Дарио молчал. Через час лейтенант взял револьвер с коротким дулом, вынул пули, оставив всего одну, повернул барабан и приставил револьвер к виску Дарио. Он спросил Дарио, боится ли он умереть. Но Дарио молчал. Тогда лейтенант нажал курок — послышался щелчок, но выстрела не было, и лейтенант снова повернул барабан. А Дарио молчал. Лейтенант опять нажал курок. Дарио ощущал холод ствола, пот катился по его лицу, по груди, по ногам... Но он молчал.

Через неделю Дарио сказали, что он свободен, и он не поверил. Он вышел на улицу и, ослепленный светом, почувствовал, что сейчас упадет, а потом увидел Верену, свою крестную мать, она сидела во взятой напрокат машине рядом со своим покровителем — старым военным. Старик дошел до адъютанта самого Батисты и клятвенно заверил его, что все это неправда, Дарио и не думал бросать гранату. Просто, услышав взрыв, мальчик с перепугу бросился бежать, а потом его ранили. Дарио сел в машину, между стариком и крестной матерью, он положил голову на ее мягкую, теплую грудь... И наконец понял, что не умер и не умрет, ничего не сказал и не скажет. И еще понял Дарио: теперь ему остается только одно — при первой возможности уйти в Сиерру.

**ДЕНЬ**

Откуда взялись управители плантаций? Нельзя сказать, что их происхождение скрыто во мгле веков. Через несколько лет после открытия Америки люди стали сажать на островах тростник, вырабатывать сахар. О тех, кто владел участками земли, засаженными сахарным тростником, со всемп находящимися на них постройками, машинами, печами и прочим, что требуется для производства сахара, принято было говорить: «У него есть кое-что за душой». Так говорят и по сей день.

Тут следует заметить, не отклоняясь, впрочем, от темы, для тех, кто впервые ступает на наши берега: если вы услышите, как про кого-либо говорят «у него есть кое-что за душой», не думайте, что речь идет о человеке умном, развитом и образованном. Вернее всего, он просто владеет плантацией с небольшим сахарным заводом. Как правило, владельцев плантаций гораздо больше, чем людей, обладающих духовными богатствами, несмотря на то что число первых тоже отнюдь не так уж велико.

Теперь вернемся к вопросу о том, откуда взялись управители. А вот откуда: без всякого сомнения, владельцу плантации вовсе не улыбалось жить в деревне, вот он и ставил кого-нибудь на свое место смотреть за хозяйством, управлять и развивать производство. Такое доверенное лицо обычно управляет чудо как хорошо. Ну а развивать производство — это уж другое дело.

Владелец, разумеется, назначает управителю жалованье, управитель сам себе назначает еще столько же, и благодаря такой удачной комбинации господин управитель получает не одно жалованье, а два. Второе, правда, гораздо надежнее.

Хосе М. де Карденас и Родригес, *Физиология управителя плантации*, 1847.



Обед. Солнце палит пещадно. Лагерь кипит. Моют руки, подставляют головы под струю. Шутки. Смех. Все проголодались и торопятся. Очередь, теснота. Есть хочется, так хочется, что, кажется, камень бы съел. Самое тяжелое уже позади. Мачетерос весело. Сегодня сюрприз — макароны. «Ну-ка, еще одну порцию!» — «Вот это еда!» — «Ты за кем стоишь, где твоя очередь?» — «А тут». Арсению пакладывает каждому макароны в оловянную миску, дает кусок хлеба. Комплекс. «Ты мне толстых не клади. И подливки добавь немного». Дарно с товарищами тоже проталкиваются в столовую. Столы, длинные деревянные скамьи. Они идут вдоль столов. Садятся. Помешивают в мисках рис с бобами и макаронами, едят хлеб со сладкой гуайабой. Ладно, в животе все смешается. Мачетерос жуют с довольным видом. Сбросили сапоги, все в туфлях на деревянной подошве, в рубашках с длинными рукавами. Рты набиты, не до разговоров. «Что ты сказал?» Отгоняют мух. В столовой обычно не только едят, здесь

беседуют, играют, пишут письма, читают газеты, рассказывают разные истории. Здесь — коллектив. Одиноканная крыша раскалена полуденным солнцем. «Не выливай макароны, давай я доем». После обеда хорошо бы закурить. И выпить кофе. По воскресеньям во второй половине дня не работают. Можно поспать, постирать трусы. Так просто пошататься. Вот это жизнь!

Еда на сафре — важнее всего. Как и другие физиологические стороны человеческого существования. Поспать. Вычесать насекомых. Испражниться. Вымыться. Тело — самое главное. Надо поддерживать его в форме, тренировать. Рубка тростника — это битва. Она начинается непосредственно здесь, прямо в столовой, где бойцы отдыхают. Поэтому мачетерос едят все, что только могут, даже шелуху. Жуют сахарный тростник. Выжимают из него сок и пьют. Но еды обычно не хватает. Слишком много расходуется энергии. Хорошему мачетеро необходимо до трех с половиной тысяч калорий в день. Люди теряют в весе. «Ты стал как чахлый стебель». Добровольцы исхудали, загорели, лица их вытянулись, глаза впали. Они все время хотят есть. Каждый пытается добыть что-либо съедобное. Мавр ловит змей. Змеиное мясо — деликатес, а кожа пойдет на туфли или на пояс. Томегин, как деревенский пес, гоняется за курами. Мачетерос постоянно заняты добыванием еды: срубают кактусы и жуют их, сосут апельсины — ведь знаменитые апельсины себальос очищают желудок, а потом, в них витамин С. Ссорятся из-за редких здесь лакомств. «У меня кто-то банку сгущенки выпил».

«Ну-ка, обслужите меня, как в шикарном ресторане». — «Сегодня макароны на обед». — «Накладывай полнее». Через полчаса все уже опять проголодались. «Больше ничего не осталось?» И все-таки не в еде дело. Не ради еды приехали они сюда по своей воле! Они — революционеры. Каждый день добровольцы выходят на поле битвы и бьются с врагом от зари до зари. Не хлебом единым жив человек. Война объявлена, мы идем в бой с мачете в руке. Потомки мамбисов\* двинулись в атаку. Сафра в разгаре.

Обед окончен. Вываливают остатки из мисок в мусорные баки. Для свиней. Впрочем, свиньям не много

---

\* Кубинские повстанцы, боровшиеся против испанского владычества во время войны Кубы за независимость в XIX в.

достанется. Кто-то чистит зубы. Три раза в день после еды, несмотря ни на что. Остальные ложатся на землю, тут же у дверей столовой. Тропелахе приехал на грузовике. Соскочил. В руке — газета. Надо быть в курсе событий. Все столпились, читают, заглядывая в газету через плечо товарища. «Арестована банда шпионов из пятидесяти трех человек, главарь — янки». — «Убери руку, мне не видно!» — «Вчера работники Госбезопасности задержали пятьдесят три человека, все они оказались членами шпионской организации». — «Ух ты, целый воз шпионов!» — «Во главе банды — янки Герберт Кандил и несколько баптистских деятелей». Газету тянут в разные стороны. «Не мешайте!» — «Подожди переворачивать, я еще не прочел!»

— Стойте, стойте, разорвете! Пусть лучше кто-нибудь один читает вслух. — Тропелахе поднимает над головой развернутую газету.

— Верно, правильно. Пако пусть читает, он здорово грамотный.

Пако берет в руки сегодняшнюю «Ой». По правде говоря, у него нет ни малейшего желания выступать в роли чтеца. Но все усаживаются вокруг и смотрят на Пако в ожидании. Придется читать. Как радиодиктор: «Проверьте ваши часы!» Ну ничего, немного, прочитаю, а потом суну газету Дарио, а сам пойду вадремнуть. Пако откашливается. Начинаем.

— Еще одно сообщение. Мачетеро Эвелио Гарсиа поставил новый рекорд. За восемь часов он погрузил вчера семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть арроб.

— Слыхал, Флоренсио? За восемь часов! — кричит Томегин, сидя верхом на единственном табурете.

— А сколько мы срубаем? — спрашивает Дарио, повернувшись к Флоренсио.

Флоренсио водит брусом по острию мачете: туда — сюда, туда — сюда, тихонечко, словно гладит. Выплывает горькую тонкую веточку-зубочистку и, не поднимая головы, говорит:

— Меньше... Наверно, в среднем тысяч двенадцать.

В вечернем воздухе сухо жужжит брусом. Мухи кружатся над столом. Кто-то зевает. «Да-а, неплохо — семьдесят тысяч. Вкалывает, наверное, как сумасшедший».

— Ну ладно, читать дальше-то? Слушайте. Космонавты Беляев и Леонов поужинали. На ужин полагается двести граммов белков, сто тридцать граммов жира и пятьсот граммов углеводов.

— Арсению, запиши! — острит Томегин.

Повар с ножом в руке выглядывает из дверей кухни.

— Сам такой, — не расслышав, отвечает он и возвращается к своим делам: котел никак не отчищается, проклятый, рис пристал ко дну. А эти лодыри набили брюхо и знай себе треплют языками.

— Я бы лучше на их месте съел хороший бифштекс, — задумчиво произносит Папаша.

— Вот и еду им дают особую, и все такое, а я скажу: рубить тростник трудней, чем летать в космосе. — Томегин обводит присутствующих взглядом, как бы ища сочувствия.

— Сравнил тоже... Космонавты — смелые ребята, факт. Подняться туда, вверх... — Флоренцио откладывает в сторону свой брусок, поднимает голову. Солнечный зайчик играет на острье мачете. Ну и остер же! Сам будет рубить.

— И что? Что тут такого? — взвизгивает Тропелакхе. Он придерживает очки, сползающие с потного носа. — А мы разве не смелее их? Тут у нас — бой с мачете в руке.

— Только уж не с твоим, конечно.

Пако опускает газету. Смотрит на рубщиков. Босые. В рваных штанах. Обросшие. Словно люди с другой планеты, думает Пако и встряхивает головой.

— Это пророчество свершается. Я помню, мне одип колдун давно еще говорил: «Увидишь, Папаша, как люди полетят в небо». А я даже и внимания не обратил!

— Какое там пророчество! Просто у них техника высокоразвитая. — Дарио многозначительно поднимает палец.

— Конечно, техника развитая. Вот они и полетели в космос. А мы? Совсем увязли, только и знаем, что тростник рубить. — Пако постукивает сложенной газетой по столу.

— Мы тоже выберемся на широкую дорогу. Будут у нас и машины, и все, что надо. Если человек способен полететь в космос, неужели он не может сделать так, чтоб тростник сам падал?

— Поскорей бы... А то, пока появятся такие машины, мы состаримся и помрем, — вздыхает Пако.

— Ишь чего захотел! Может, тоже полетишь туда? — Папаша поднимает руку к потолку. — Вроде этого русского. Как его звать-то? Белайо?

Пауза. Задумались. Трудно разобраться во всем этом: у русских развитая техника, а мы отстали. Надо и нам развивать промышленность. Много трудностей впереди! Чертова путаница. Да еще этот полдневный жар. Солнце. Кажется, цементный пол столовой вот-вот расплавится. «Если б нас хоть кормили, как космонавтов, легче было бы. Белки да жиры... всего, сколько положено по науке. На таком рационе меня Рейнальдо Кастро и то не догнал бы». Папаша молчит. Томегин почесывает затылок. Нам сейчас плохо, мы сидим в яме, но мы обязательно выберемся. Воздух раскален.

— Вот ведь как в жизни случается. Колдун мне и говорит: «Пабло, ты своими глазами увидишь, как люди живыми в небо полетят, а потом вернутся».

— А как это было, Папаша? — интересуется Дарио.

— Давай, давай, расскажи, — говорит Томегин. Он любит слушать истории старого негра. Старик сочиняет их на ходу. Томегин подвигает табурет, устраивается поудобнее. Развесил уши — огромные, прямо радары! Из кухни предостерегающий голос повара:

— Не верьте этому старому брехуну.

— Случилось это давно, много лет назад. Я был тогда молоденький. Вот как Певец. Мы жили на плантации Эспанья. Один раз мой двоюродный брат Александр, боксер-то, он мне и говорит: «Пабло, давай сходим с тобой судьбу спросить». Вот мы и отправились. А жрать было нечего. Можете представить, приходилось очередь занимать, чтоб попасть на сафру.

— Ну уж, не заливай, Папаша.

— А вот и правда. Очередь занимали, да еще просили, пожалуйста, разрешите хоть несколько арроб срубить. Не веришь, да?

— Верно, верно. — Томегин утвердительно кивает головой. — В этих местах, если кому удавалось наняться тростник рубить, так говорили — ему повезло. Я знаю, мой старик тоже из деревни.

— Ладно, рассказывай про гаданье-то!

— Ну так вот. Он и говорит мне, брат-то двоюродный: давай сходим к хорошему колдуну. А я отвечаю:

да ведь у нас гроша ломаного нету. Не падо, говорит, ничего. Этот колдун даром судьбу предсказывает, у него такой обет богу Чанго... Я в эти всякие штуки не верю, но всегда, правда, уважал их, колдунов то есть. А тут еще голодуха... Как сейчас помню, в пятницу это было, вечером. Вышли мы из дому и отправились в горы. Этот самый колдун, он никогда в поселок не приходил, вроде ему какой-то бог, что ли, у которого все молнии в кармане, запретил, уж не знаю. Ну ладно. Шли это мы, шли и приходим. А колдун был старый негр в длинном, чудном таком балахоне. Целые дни он только и делал, что молился. Посмотрел это он на меня и говорит: «Фоле, фоле, ома, фоле, а чегун (я все запомнил, потому что ведь к добру оказалось). Ты, Пабло, Папаша, вернешься на плантацию, соберешь свои вещички да и поедешь в Гавану...» Так и случилось, сеньоры!

Папаша со значительным видом оглядывается. Флоренсио не слушает, опять занялся своим мачете. Томегин морщит лоб — в этой истории не так-то легко разобратся. У Дарио нога занемела, топчется, растирает колено ладонью. Папаша продолжает:

— Тропелахе, очки потеряешь. Я прямо-таки застыл на месте от удивления. Ему же никто не говорил, как меня зовут, и раньше он меня никогда не видел. Значит, что-то такое у него есть. Дар какой-то.

— Что тут удивительного? Ясно было, что ты там не останешься. Голодать-то кому охота! — Дарио прыгает на одной ноге.

— Да нет, нет, не в этом дело! Я же совсем про другое говорю, про космос. Тот старый негр был настоящий колдун, денег не брал... Потом развел он как-то чудно руками, уселся и глядит на меня. Глаза большие. И говорит: «Пабло, ты будешь счастливый. Тебе повезет, когда состаришься. Увидишь, как люди полетят на небо и потом вернутся». А я тогда не понял, что это значит!

— Ты думаешь, он говорил про этих русских? — с сомнением спрашивает Томегин.

— Мало ли о чем он мог говорить, — замечает Дарио.

— Вот именно, что о них! Именно! Люди-то полетели! Это был настоящий ведун. Он и Александру верно сказал. «Ты, — говорит, — станешь великим, но такого, как Пабло, не увидишь».

Тропелахе встает, отряхивает штаны, вечно мятые, грязные, решительно заявляет:

— Я таким вещам не верю. Это все сказки.

— Какое там колдовство! Ерунда. Так вот вас и обманывают. И уж конечно, потом все-таки денежки из тебя вытянул, — добавляет Пако, расстегивая мокрую от пота рубашку.

— Сеньоры, я говорю серьезно. Ведун был прав. Посмотрите на Белайо и на второго русского. Они же на самом деле полетели на небо!

— Если б русские слушали колдунов, как вы, никогда бы и не полетели.

— Н-да. По правде говоря, я и сам не больно верю колдунам-то. Но все же я их всегда уважал, потому что, кто знает...

Никто не поверил Папаше. А ведь старик говорил правду: колдун много лет назад предсказал, что ему повезет. И Папаше действительно повезло.

Первый год революции был для Дарио годом зрелости. Ему исполнилось двадцать один. В этом возрасте человек обретает здравый смысл, зуб мудрости, право избирать и быть избранным, если на то пошло. И вот Дарио взрослый. Все позади: шлепки крестной, мокрые пеленки, мараки, игрушечный медвежонок; ножки маленького Дарио заплетаются, язык тоже, ротик полуоткрыт. «Ах ты мой поросенок! Ты смотри, осторожней, колодец-то обвалился, один малыш упал туда, весь водой налил...» Кегли, автомобильчик, который можно возить за веревочку, оловянные солдатки. Потом — начальная школа, учебник каллиграфии Пальмера, «Пишите, дети, «бул-ка», шестой класс, седьмой, восьмой, девятый, драки с мальчишками из соседнего квартала, наши победили, но Дарио сломали руку; пятнадцать лет, длинные брюки, голова кружится от первой сигареты, выкуренной тайком на лестнице, клетчатая рубашка-ковбойка, поездка на месяц в деревню с крестной Вереной, экзамен по алгебре, Мерседес, Мерседес... Переворот — Батиста сбросил Прио и взял власть. Первая женщина — старая проститутка, в головах ее кровати висел образ святой Варвары с кинжалом в руке; песенка «Голубая луна», рок-н-ролл... Разочарование, незачем больше жить, решение покончить с собой,

броситься с мола вниз, умереть, умереть... Сверху видна яхта клуба Регла, она качается на волнах, а на берегу стоит девушка, Марта, и улыбается. Дарио спускается с мола, подходит к ней. «Я живу здесь, рядом. А вы?» Зимний ветер бьет им в лица... Первые прокламации, жизнь начинается снова, карнавалы в Бехукаль, высадка с Гранма, сбор денег на оружие, обучение стрельбе, «молодежь обезумела», конспирация, выпивки в Гуанабо, шпионы, преследование, борьба, опасность, восстание, победа. Право начать все сначала, произносить «родина», «аграрная реформа», «земля», «социальное равноправие», «независимость», «свобода», «суверенитет» — слова, которые повторялись в этой стране в течение целого века, их бросали в воздух, на ветер... Обещания, надежды всегда кончались разочарованием, потому что все эти слова были ложью, их произносили взрослые — политики, полицейские... люди, которые только и делали, что боролись один против другого — я тебя свалю, а сам сяду на твое место. Пошлая ложь затопляла страну, и благородные слова летели в воздух, на ветер; но ветер родит бурю — мечты, надежды, восстание, революцию... Революция. В этом слове — сила; щелкают затворы, встают в едином вихре горы, долины и города, и ты становишься человеком. И тогда слова «настоящее» и «будущее» наполняются смыслом. Головы полны замыслов, мы все перевернем, нас ждут великие свершения, и ты наконец получаешь право свободно дышать, жить, расти, расти... называться Дарио, Перико, Хуан де Лос Палотес, Чучо, Хасинто, Хосе, икс, игрек, зет... И все равно, белый ты или нет: можешь быть белым, белейшим, как плодовый червяк, а можешь быть смуглым, светлым, коричневым, желтым, альбиносом, негром... это совершенно неважно. Революция, революция, все меняется, ломается, рождается вновь: народ, общество, жизнь, человек... И Дарио тоже.

Дело не только в том, что бумаги, приказы выглядели теперь по-иному, что были расстреляны всякие мошенники, а государственные учреждения очищены от плесени: бездельники, жулики, любители широко пожить, бездарные болтуны, чьи-то сынки, пролезшие по знакомству на теплые местечки, были выметены вместе с бутылками, паутиной, мусорными корзинами и прочим хламом навеки и на благо всем; на самолетах и па-

роходах, бегом, впопыхах, удирали важные господа, болтавшие о перевороте, убийцы, батистовцы, сторонники Табернилья \*, масферреристы \*\*, жалкие трусливые стратеги, любители порассуждать о политике за чашкой кофе с молоком, удобно устроившись за спиной своих покровителей. «Переворот возможен с помощью армии или без помощи таковой, — уверяли они. — Но переворот против армии — нелепость».

Теперь наконец можно свободно передвигаться, ходить, останавливаться на углу, разговаривать, собираться. Действовать, держать высоко голову, повернуть резко на другой курс. Но главное в том, что изменилась перспектива, взгляд, точка зрения. Дарио двадцать один год. Другими глазами смотрит он теперь в свое старое зеркало с трещиной. Приглаживает непокорные блестящие черные волосы, разглядывает свое смуглое лицо с толстыми губами, широким носом и глубоко запавшими сверкающими глазами. Намыливает худые щеки, проводит бритвой по едва наметившемуся пушку — тень совершеннолетия. Дарио чувствует — все вокруг стало другим.

Конечно, комната не изменилась, то же зловоние из уборной, тот же дырявый рукомойник и таз под ним, тот же августовский день и голос Верены, крестной матери, зовущей Дарио завтракать; та же столовая с окном в потолок, распахнутым в небо. Но Дарио иначе смотрит на мир. Появилась надежда, уверенность. Жизнь можно переделать, мы будем свободны; надо только действовать, работать, свершать. Революция сотрясает землю, а революцию делаем мы, такие, как ты, Дарио. Ты вынес все — жизнь в этой комнате, безнадежный взгляд в зеркало, безвыходность — «мне все равно»; тоску, вполне ощутимую, да, да, буквально на ощупь. Вот ты растешь, тебе исполнилось столько-то лет, и... нет будущего, нет пути. Ты один, и всё против тебя — эта прогнившая лестница, соседи, приятели, прохожие, шагающие по улице, покорно понутив головы, веселые дома, завораживающие кинокартины, телепрограммы-боевики... Ты один против всей мерзости мира,

---

\* Табернилья — главнокомандующий кубинской армией в период диктатуры.

\*\* Сторонники Масферрера — рукоподителя правительственных профсоюзов в период диктатуры Батисты.

против войны, холодной, горячей, теплой, открытой, скрытой, прикрытой. «Сегодня мы не даем ссуды, приходите завтра», — отвечают тебе. Ты печатаешь объявление в газете: «Молодой студент ищет работы в конторе», а тем временем электричество срезали за неуплату... Ну что ж! Коли так, будь что будет! И ты запеваешь беспечно: «Меня зовут ленивым негритенком, уж очень я работать не люблю!» Припадки безволия, праздность, пустая голова — болезнь? То ли тоска, то ли что-то большее или меньшее, чем тоска, кто его знает, только тошно, наверное, нервы, депрессия или как там еще называется, некоммуникабельность, а может, хуже, тяжелее, глубже, что-то низкое, раздирающее... Бывает и проще — горло болит, зуб надо вырвать, грыжа, физические ощущаемые страдания, а аспирин нет, пет и микстуры от кашля — в час по чайной ложке, пет даже ложки, да, да — обыкновенной ложки тоже нет! Больные в Льега, в Пон, в Куэва дель Умо, больные в порталах Сентро Астуриано, в домишках, в многоквартирных домах — целый город без дверей, без окон, без одеял, без кроватей... Но ты, Дарио (и другие такие, как ты), ты не болен, ты живешь, если только это можно назвать жизнью. Ты почти взрослый мужчина, но неполноценный, изуродованный, недоразвитый умственно и физически: узкие плечи, больной желудок, тощие руки и ноги, низкий рост, малый вес, ни то ни се, жалкий, обманутый, униженный, без будущего, ползучая пародия на род человеческий. Словно мы, такие, как ты, Дарио, существуем где-то до человека, ниже его, мы какие-то обезьяны, мы движемся как куклы, живем как во сне...

И вот ты пережил все это, Дарио, ты выдержал одиночное заключение в многоквартирном доме старой Гаваны, и теперь тебе хорошо. Ты надеваешь голубой галстук, старательно вывязываешь узел, вкалываешь булавку и улыбаешься в зеркало; причесываешься, внимательно рассматриваешь свою стрижку и чувствуешь себя молодым, веселым... «В конце концов, мне всего только двадцать один год...» И Дарио, посвистывая, спускается в столовую...

Без десяти семь. Дарио уселся на скамейке в Центральном парке, позвал чистильщика и вытянул ноги.

Мальчик принялся чистить его новые туфли. От щетки и бархатной тряпочки шел запах сапожного крема и краски. Дарио вспомнил, как без конца перекрашивал свои старые белые мокасины в зависимости от времени года. Мальчик-чистильщик носит на спине деревянный ящик, бродит по парку с криком «Почистим, почистим!» Революция еще только начинается, подумал Дарио, мы боремся и за то, чтобы не было нищеты, чтоб маленький чистильщик не стоял в пыли на коленях ради нескольких сентаво. На дремлющих деревьях звенели, перекликаясь, сотни птиц. Дарио, казалось, впервые услышал эту странную симфонию: птичий щебет, гудки машин, крики продавцов газет, радио. Впереди — радостный вечер, сегодня день рождения Дарио, и у него наконец-то есть немного денег. Можно пригласить Марту посмотреть «Семь чудес света», где Гарри Купер играет ковбоя, или даже в «Ночь и день», где поет Селесте Мендоса. Они будут танцевать всю ночь, счастливые, молодые, любящие друг друга и Революцию, которая открыла им дорогу в жизнь.

Чистильщик дернул Дарио за штанину — работа окончена. «Блестят, — сказал он, — во как блестят, доктор». Дарио загляделся на сверкающие туфли. Сунул руку в карман, дал мальчику песету и зашагал, все еще замороженный лаковым блеском. Обувь Инхельмо, символ элегантности. Дарио заплатил за туфли первые восемнадцать песо, заработанные в этом году. Верена твердила, что молодой человек, имеющий работу, вполне заслуживает пары хороших туфель. Она сама отправилась вместе с Дарио на Мансана де Гомес, заставляла его примерять то одну, то другую пару, даже не спрашивая предварительно о цене, и наконец убедила купить эти изящные туфли отечественного производства. Но, по правде говоря, в сапогах Дарио чувствует себя лучше, они шире, мягче, к узкой, удлиненной колодке новых туфель привыкнуть довольно трудно. Как ни старается Дарио идти не спеша, ступать осторожно, туфли жмут, и весьма ощутимо. У Педро Поляка были туфли с металлическими подковками на каблуках, когда он шел, слышно было за версту, словно лошадь скачет. Но и Педро далеко до Дарио. Туфель Инхельмо не носил, кажется, еще ни один человек из нашего квартала.

Дарио поднял голову, огляделся. На скамейках несколько человек читали «Пренса Либре»: «С 1 августа

плата за электричество снижается на тридцать процентов». Кое-кто курил, пуская кольца дыма, некоторые свистели вслед продавщицам в белых платьях; они шли, усталые — легко ли восемь часов простоять на ногах, заворачивая в подарочную бумагу рубашки, галстуки, простыни или форму для учеников частных колледжей. Старики сидели на плетеных стульях, беседовали о погоде, о том, что настали наконец хорошие времена, ждали оркестра — послушать Ла Байамеса или танцевальные мелодии Родриго Пратса. «Жизнь стала совсем другая, веселее гораздо, а вот когда нам было по двадцать лет — не то...» Дарио подошел к группе людей, оживленно о чем-то споривших. Они толпились вокруг плотного мулата с черными баками и узенькой полоской усов над пухлыми губами и говорили все одновременно. Такие группы возникали внезапно, люди толковали о том, что было и что будет... Собирались и просто любопытные, праздношатающиеся, и те, кто вышел на вечернюю прогулку, и те, кто спешил по делам, но все же остановился на минутку послушать, о чем идет речь, и вставить свое веское слово, и профессиональные ораторы, проповедовавшие самые разнообразные учения, — короче говоря, все, кто по той или иной причине проходил через парк, расположенный в центре старинного города.

— А я вам говорю, приятель, что у Трухильо мания величия, он сумасшедший, — мулат размахивал руками перед носом какого-то старика; тот глядел оратору в лицо и кивал головой.

— Беда в том, что американцы помогают Трухильо. Тридцать лет этот человек держится в Гаити, тридцать лет, сеньоры.

— Тридцать лет, — повторил кто-то задумчиво, — что было бы с Кубой, если б Батиста продержался у власти тридцать лет?

— Ну, значит, нам не следует так уж задиаться с американцами, — сказал человек в рубашке с короткими рукавами, стоявший прямо напротив Дарио.

— Это они задируются, а не мы, приятель, — отвечал мулат, — ну а раз они задумали хозяйничать у нас и лезут в драку, пусть получают, чтоб знали...

— Плетью обуха не перешибешь. — Человек в рубашке развел руками.

— Никто и не собирается, мы же не лезем первые.

— Но все-таки очень уж мы хорохоримся. А знаете, что сказал представитель ОАГ\* в Чили? Надо остерегаться коммунистов, они хотят повернуть революцию по-своему и связаться с русскими.

— Кубинская революция вовсе не коммунистическая, — твердо сказал мулат и при этом так отчаянно затряс головой, что казалось, она у него сию минуту отвалится.

— Конечно, не коммунистическая, — поддержали остальные.

— Не говорите лучше зря. Это ли не коммунизм? Да самый что ни на есть, как бог свят!

— Предатель, шпион!

— Шпион!

— Шпион!

— Сам ты шпион, зараза, а я революционер.

— От заразы слышу! Распускает здесь всякие слухи...

— Американцев боится!

— Просто я не хочу никому продаваться. — Человек в рубашке вскинул руки с трагическим видом и обвел присутствующих невинным взглядом, ища поддержки.

— А почему ты решил, что мы хотим, черт бы тебя взял? — Мулат схватил его за ворот.

Человек в рубашке с короткими рукавами подпрыгнул, замахал руками, как утопающий.

— Пусти, негр вонючий. — Голос его прерывался, хоть он и старался говорить спокойно.

— А ты — беленький, да, сволочь?

— Шпион! Шпион! — кричали остальные, сгрудившись вокруг. Человек в рубашке отбивался от мулата.

Группа раскачивалась из стороны в сторону, подрагивая, словно желатин в форме; назревала драка. Такого рода стычки случались нередко по разным поводам — то какой-то одинокий фланер бросил наглый взгляд на кокетливую даму, гулявшую под руку с мужем; то просто двое прохожих столкнулись нечаянно на дорожке; то разгорелся ожесточенный спор по поводу последнего чемпионата с участием «Кубинских Сахарных Королей»; а иногда, как сегодня, возникал горячий диспут на политическую тему.

---

\* Организация американских государств.

— Пустите его, пустите, — закричал Дарио, пытаясь разнять их. — Пустите, пусть катится на Мадейру к Батисте. Давай отсюда, предатель, провокатор...

Человек в рубашке с короткими рукавами ловко вывернулся из рук мулата, пробился сквозь толпу и бросился бежать, то и дело оглядываясь. Он добежал до Рута, 30, и вскочил в отходивший автобус. Разгоряченными преследователям так и не удалось задать ему трепку. Они долго еще обсуждали, кто бы это мог быть — уж конечно, какой-нибудь доносчик, жулик, из тех, что живут в собственном доме, читают «Диарио де ла Марина» и только тем и занимаются, что выпускают разные враки. «Только подумайте, сеньоры, — сказать, что у нас коммунизм! А в конце-то концов, американцы и в самом деле воображают себя лучше всех на свете, они весь мир хотят обокрасть». — «Правильно, у Мексики отхватили порядочный кусок, теперь к нам лезут». — «Ничего у них не выйдет, хочешь не хочешь, а приходится с нами считаться». — «Аграрная реформа у нас будет, тут уж они не в силах помешать».

Постепенно стали расходиться: кто отправился на угол вышить прохладительного или на Гуарино — купить мороженого, потому что от жары и бурного спора пот градом катился по лицам, а в воздухе — ни ветерка; кто просто пошел побродить по парку; несколько человек окружили старого нищего по прозвищу Рыцарь из Парижа. Он улыбался спокойно с высоты своего невинного безумия, погруженный в прекрасные грезы, длинноволосый, бородатый, такие бороды носили еще до революции. Рыцарь с минуты на минуту ожидал прибытия своих победоносных войск. Он спал под открытым небом, питался подаяннем и дружески беседовал с детьми, стариками, со всеми, кто подходил посмотреть, как он плетет из разноцветных ниток чехольчики для карандашей и школьных ручек.

— Фидель — главнокомандующий, а я — император Франции, — сказал Рыцарь и откинул назад черный поношенный плащ, завязанный на шее шнурком и заколотый позолоченной булавкой. — И что бы ни говорили наши враги...

— А скоро вы думаете свершить революцию во Франции, Рыцарь? — спросил какой-то молодой человек.

— Битва уже выиграна, юноша, царство ожидает меня, — торжественно возгласил старик и поднял руку.

— Но Франция немножко далековато отсюда, Рыцарь.

— Не беда, не беда. Скоро придут мои скакуны, мои войска... Скоро... — уверенно отвечал он.

— Не тревожьтесь. Рыцарь, они, конечно, скоро придут, — сказал Дарио и опустил реал в изящную, удлинненную ладонь безумца.

Дарио пошел дальше по парку. Он не спешил. Сегодня день его рождения. Дарио смотрел на себя словно со стороны и удивлялся, как он изменился. Когда-то, в детстве, волшебный плащ безумца манящей мечтой развеивался над головой Дарио, а теперь это просто старая тряпка; и все же мечта Дарио осуществима, жизнь можно переделать; скакуны и войска, о которых твердит старый Рыцарь, придут на самом деле, царство справедливости расцветет на земле, люди из плоти и крови создадут его на основе разума. Шагая по парку, Дарио почти физически ощущал это. Мы меняем кожу (не только Дарио, а и все другие, такие же, как он). Да, мы меняем кожу. Спадает твердая кора, панцирем покрывавшая тело, негибкая, непроницаемая, непробиваемая, жесткая, словно мозоль, окостеневшая, окаменевшая. Ничто нас не брало — ни вода, ни огонь, ни правда, ни ложь, нас приучали притворяться, скрывать свои поступки, улыбаться благожелательно, дружески раскрывать объятия и пожимать руки — целый ворох обычаев, как чешуя, покрывал лоб, грудь, ноги, все тело, это называлось цивилизоваться, научиться общепринятому, свойственному всем нормальным людям, носящим куртки из дрилла или хлопка и пестрые рубашки. А главное — нас заставили поверить, и мы поверили, будто кубинец — особое существо, буйный, темпераментный прожигатель жизни, развращенный щеголь и хвостун, который не любит учиться, живет в долг, кое-как; кубинец — всегда второй сорт по сравнению с испанцем или янки, о'кей — о — о'кей. «Ведь мне всего дороже бутылка и красotka» — вот какую песенку вечно поет кубинец, и лозунг его — «чтоб я сдох, если возьмусь за работу, будь она проклята!» Нас заставили в это поверить, и мы поверили.

Да, пришло время менять кожу, сбросить, содрать с себя старую шкуру. Политиканство, тайный скептицизм, неуверенность в себе, грубая шутливость, идеализм, тревога — прочь все это, прочь! Сахарные заводы, объявления «Собакам и неграм купаться запрещено», тоска, сосущая душу... остров сахарного тростника, что плавает на поверхности моря, словно сардинка, ключ к Новому Свету, «прекраснейшая из всех земель, что видели глаза человеческие», как сказал Колумб, утыканная пальмами под палящим солнцем, непростительно богатая и битком набитая голодными, нищими, измученными людьми; остров, окруженный со всех сторон морем, где тысячи и тысячи жителей никогда не видели ни моря, ни песка; эти люди не знают ничего — ни той истории, которой нас учили, ни той, которую от нас скрыли; девятнадцатый век — туземцы, индейцы в солидных куртках, гимны и знамена, карибский рай, видение свободного мира, Америка, Бессмертная Америка, источник света, луч свободы, Бессмертная Америка. На Кубе живут создатели бонго\*, мамбо и ча-ча-ча, виртуозы игры на мараке и на гитаре в сопровождении кастаньет, ола! Мачетерос, тореадоры, водуисты и сантерос\*\*, Николас Гильен, веселый темнокожий народ, пастухи и владельцы сахарных плантаций, консервативные и в то же время свободолюбивые; на этом острове часто в обороте находится много денег, но всегда живетя тяжело; все здесь счастливы и довольны (а на сердце кошки скребут). Тропический остров к югу от тропика Рака, над Флоридским проливом, узким здесь и широким там, Юкатанский пролив, Карибское море, а остров-то вовсе не остров, а архипелаг; и Кубинский архипелаг — вовсе не кубинский, здесь командуют иностранцы. Пробковый дуб, бури (в стакане воды), настоящие ураганы, срывавшие крышу с дома, где жил Дарио; на этом острове только два времени года, одинаково голодные, — засуха и дожди; сырой остров, католический, папский, римский. Остров уик-энда, отелей «Ривьера» и «Гавана Хилтон», «Прошу вас делать ставки, сеньоры, прошу делать ставки»;

---

\* Народный музыкальный инструмент африканского происхождения, типа барабана.

\*\* Водуисты, сантеры — приверженцы двух сект синкретической негритянской религии.

Синдо Гарая и Марии Тересы Веры\*, остров музыки, мараки; розовое дерево, кактусы, хлеб с джемом из гуайабы, шелест пальмовых листьев... Остров, очертаниями напоминающий крокодила; здесь дремлют крокодилы и ловчат ловчицы; время мертво для нас, и мы мертвы для времени; кубинцы называют свою родину «остров», а для американцев это слово звучит иначе — колония; купальные костюмы, реву, эффектные ритмы, предательство и грязь... Грязный, отсталый, безграмотный остров, безработные и бродяги, в лохмотьях, в струпах... наша кожа — сплошной струп, мы так и родились, покрытые лишаями, как ястребы; в змеиной коже, в шкуре вячного осла, в волчьей шкуре... И вот — настало время, мы меняем кожу, сбрасываем ее, как скорпион, вместе с ядом и жалом. И стоим, обновленные, во всей человеческой наготе и дивимся непонятной силе, исходящей от нас самих, единых, дружных. Мечта сроднила нас. Но мы еще не совсем очнулись от страшного кошмара, еще не можем поверить в собственную красоту. Поднявшись в своей чистой наготе, мы отменяем ханжеские обычаи, срываем завесу с глаз, оглядываемся вокруг и бесстрашно посмотрим вперед. Ничто не пугает нас, ибо мы дружны и молоды, очень молоды, совсем еще дети, невинные дети, готовые принести в жертву все, чем мы владеем, всю эту кучу мерзостей, и в том числе — нашу свинскую жизнь, заурядную, ограниченную, кучую, которой не хватает даже на то, чтобы вырасти, завести детей и протянуть в один прекрасный день ноги. Мы сорвали завесу с глаз и изумились, увидав, сколько вокруг нас вранья. Не великого, утонченного, всесильного вранья, религиозного или философского; не изощренной эсхатологической лжи ради благой цели; не новомодных окаянных доктрин о цивилизации и развитии, о гордом, всесильном мыслителе — гомо сапиенс. Нет, мы изумились, увидев вранье самое приземленное, грубое, хамское, полностью соответствующее их представлению о духовных ценностях. И перед этими-то людьми мы смирились, восхищались их могуществом, потому что сами мы — неспособные, малоразвитые, во веки веков, ампы, да будет так; так бы и было, если б мы не сор-

---

\* Синдо Гарай — композитор; Мария Тереса Вера — исполнительница песен и композитор.

вали раз навсегда свою шкуру, не поверили в свои силы, не начали учиться. И Дарио тоже будет учиться. Мы создадим прекрасный, небывалый, невиданный мир, мир зеленых олив, а может быть — красных, черт его знает, неважно. Важно то, что в этом новом мире ты, Дарио (и другие такие, как ты), мы обречем права, независимость, достоинство. Достоинство, Дарио, — вот великое слово, достоинство, достоинство!

Час пополудни. Пообедали.

Удушливый зной. Высоко над лагерем — солнце в свинцовой мгле. Отдых. Одни лежат в гамаках в душном бараке, другие предпочли остаться в столовой на цементном полу. Пако устроился возле ветряной мельницы — там прохладней. Папаша, используя свободное время, обрезает длинные и твердые ногти на ногах. Мавр бродит вокруг столовой, ищет трав для своих знаменитых снадобий; улиткин лен, тимьян, коровий язык, белену, майоран, розмарин, всякие листья и корешки. Мавр уверяет, что они лечат от всего: от головной и зубной боли, от простуды, расстройства желудка, болей в сердце, лихорадки, воспаления уха, вывихов, вообще от чего угодно, от любой болезни — стоит лишь несколько раз в день выпить теплого настоя. Мавр идет по тропинке, собирает альбааку — она помогает от почек. Арсенио поглядывает на него подозрительно, навешивает замок на дверь кладовой.

— Кто его знает, прикидывается дурачком, травки собирает, а сам глядишь — заберется в кладовую, утащит продукты... Ну, если я кого поймаю, держись, голову оторву!

Цветной моет кастрюли — подставляет под кран, встряхивает, потом опрокидывает вверх дном на стол. Остальные, забыв о тростнике, наслаждаются отдыхом... Сейчас бы на пляж! Полежать, пожарить спину на солнышке. Певцу надоело отгонять мух. Он отвязывает свой гамак и, захватив гитару, выходит на воздух.

Певец шагает к апельсиновой роще. Здесь прохладно, нежный аромат веет над деревьями, журчит наполовину пересохший ручеек. Певец вдыхает полной грудью. Черт возьми, ну и местечко, настоящий рай! Сюда бы еще красотку! Как Адам и Ева. Только Адам и Ева, конечно, не умели петь. На земле их было тогда

всего двое. Ни сахарного тростника, ни янки, ни социализма. Счастье — это апельсин, женщина и гитара. Певец запекает:

Господь, создавший этот мир, любовь моя,  
В тебе одной лишь воплотил свою мечту,  
И о тебе одной мечтаю я...

Повесим-ка гамак сюда. Ветерок. Ах, хорошо! Не вставая с места, можно протянуть руку и сорвать апельсин. Певец достает нож, очищает апельсин. Нож у него универсальный — тут и бритва, и пробочник, и кремьень, и ножик для открывания консервов, и еще какая-то штука, только вытащить ее невозможно. Нож привез Певцу из Испании приятель — Фелипе. Певец берет свою кружку, она у него всегда висит на поясе — ма-четеро, у которого нет посуды для питья, никуда не годится. Певец не спеша выжимает в кружку апельсиновый сок. Хорошо бы еще рому!

Полузакрыв глаза, он снова берется за гитару:

Повозка скрипит, скрипит,  
Не знаю, как тут быть,  
Никто обо мне не грустит,  
И не о ком мне грустить.

Это пел Лучо Гатика. Чилийская музыка создана специально для гитары. Так по крайней мере уверяет Сиро, а он умеет даже танцевать куэку\*. Ну а наша кубинская? Музыка черных рабов, вьючных животных из племени банту и абакуа, они породнились с завоевателями, с басками, галисийцами... и с китайцами тоже, и со всеми другими, кого привозили сюда как дешевые рабочие руки. Так началась кубинская раса. В нашей музыке каплями дождя звенит марака; флейты заворачивают, свистят и шипят, как змеи; словно львы в джунглях, режут барабаны, обтянутые блестящей кожей. Это двойная музыка, она черная и белая. «Две музыки, дружок», — как говорил Вильявисенсио, размахивая смычком.

Подходит Моисес, тоже с гамаком. Похож на беглого невольника: без рубашки, штаны подвязаны веревкой, а снизу срезаны по-рыбачьи. Босой, гамак перекинут через плечо, как мешок, грязные волосы

---

\* Чилийский народный танец.

торчат во все стороны. Его прозвали Хромым за то, что ходит вперевалку. Хромой Моисес, переплетчик, а по вечерам — саксофонист. Он здоровается с Певцом.

— Вот, здорово, черт возьми, — говорит он. — В самый раз, тут-то я и пришвартуюсь.

— Дьявол Хромой, мало тебе кругом апельсинов, обязательно надо лезть ко мне.

— Да ладно тебе, Певец, помоги-ка лучше подвесить гамак. Мы же с тобой приятели... оба музыканты, черт возьми.

Они подвешивают гамак Хромого. Ложатся. Над головой — южное яркое небо, усеянное апельсинами. Певец накрывает лицо шляпой. Запах апельсинов, их тонкий аромат рождает воспоминания. «Я познакомился с ней на площади Карла Третьего, нет, на Амистад. И в ту же ночь видел ее обнаженной. А та, другая, на пляже в Гуардалабарка, как она ступала по песку своими длинными босыми ногами!» Женщина... Запах апельсиновых цветов пробуждает желание, сонное тело охвачено желанием...

— Слушай, Хромой!

— Что?

— Сюда бы красотку, а?

— Двух. Одну тебе, другую мне.

— Двух, — задумчиво соглашается Певец. — У меня была одна в Оро де Гиса... На кофейной плантации.

— Вот это, наверное, здорово. На травке, да?

— Ага.

— А нечисти всякой там не было? Муравьев? Нет?

— Что до меня, я не чуял.

— А я со своей в кабаре. Ночью, когда закрыли.

— Оркестранты всегда уходят последними. Именно поэтому.

— Ах ты черт! Все-то он знает!

Певец в полудремоте перебирает струны гитары. Была бы любовь, а где — это все равно. Здесь, например, в апельсиновой роще, мы бы расположились поближе к ручью. Там трава мягче. И водичка журчит, словно кто на маримбе играет. Да. Чего не хватает на рубке тростника, так это женщин. Поначалу, конечно, ничего не чувствуешь, потому что за день так изведешься, что, явись хоть сама царица Савская, тебе все равно. Ну а теперь уже месяц прошел, к работе привык. И днем, когда отдыхаешь, закипает кровь. Да вдобавок кругом все так спо-

койно, тихо, изредка только дрозд пропоет или какая-то другая птичка, с черной головкой, вон их сколько, посвистывают на вершинах. Ох, лучше съесть еще апельсин. Певец не спеша чистит апельсин, высасывает сок.

— Слушай, Хромой, а она была красивая?

— Кто? — сонно откликается Моисес.

— Та, что в кабаре.

— А! Ага.

— Наверно, она согласилась потому, что ты очень хорошо играешь на саксофоне.

— Да нет, не потому. Для меня саксофон — просто работа.

Моисес выпускает что-то вроде вдоха, будто дует в свой саксофон, потом потягивается и тоже срывает апельсин.

— Хотел бы и я научиться играть на саксофоне, — говорит Певец. Губы его мокры от сока.

— У тебя на гитаре ловко получается. — Моисес выплевывает косточки.

— Но саксофон — это здорово. У него звук, как бы это сказать, глубокий, с чувством... А что ты любишь играть больше всего?

— Да мне все нравится. Но самое лучшее, по-моему, — джазовые мелодии.

Певец тихонько покачивается в своем гамаке. Если бы уметь играть на саксофоне, он взял бы сейчас до минор, густое-густое. Сначала медленно, долго, потом все взволнованней... как жажда любви. У саксофона — мужской голос, сильный, низкий. А гитара — женщина. Певец ласкает струны, гитара отзывается мягким, нежным арпеджио. Хромой Моисес, кабаре «Дель Сиерра»... Жаркий день на кофейной плантации... Она была маленькая... «На той неделе отпрошусь ненадолго, — думает Певец. — Схожу в Сиеро де Авила или в Морон, может, повезет. Томегин говорит, у лагуны по воскресеньям черт те что творится. И пиво есть... У гитары протяжности нет». Он снова перебирает струны: «Лишь о тебе одной мечтаю я, господь, создавший этот мир, любовь моя»...

— Хватит, Певец, дай вздремнуть малость.

— Я же тебя баюкаю. И потом, тебя сюда никто не приглашал.

Но Певец умолкает. Хромой Моисес — хороший парень. Он решил поехать на рубку в последнюю минуту. Подошел и говорит: «Запиши-ка и меня, Певец».

Многие полагали, что все уже сделано, жизнь устроена: мир восстановлен, земля и небо пришли в согласие; опять будут собираться съезды католиков, опять верующие поползут на коленях, раскинув руки, по дороге к Ринкон, умоляя святого Лазаря о чудесном исцелении больных и увечных, опять начнутся бдения у ног святой девы де Кобре, страстные мольбы, чтоб защитила Кубу своим святым покровом, спасла бы ее от безбожных коммунистов; снова появятся яркие рекламы Американского туристского агентства с изображением орхидей Валье де Виньялес, голубого моря и темно-золотых пляжей, обещающие приятный отдых в теплом климате и очаровательные прогулки; отошли в прошлое пытки и мучения, покончено со всякими шпионами вроде Вентуры \*, Карратала \* и Масферрера с их своей провокацией. Теперь все пойдет по-старому: одни родятся, другие умирают, ураганы сотрясают землю, вспыхивают пожары; кричит Каридад — является в мир четвертый по счету малыш, все от того же китайца; продавца льда увезли в больницу — «Представьте, с ума сошел прямо посреди улицы Меркадерес». «А вот, смотрите, карточка жениха и невесты, они познакомились шесть лет назад во время туристской поездки по побережью до Кохимара»; в церкви святого Хуана Боска, что против москательной лавки Сарра, крестят младенца; ревет гудок — три часа дня, время пить кофе; в газетах некролог — умер отец Марселино, значит, сын станет теперь владельцем скобяной лавки; фотографии премированных лошадей, не знающих усталости, подобно молодому скакуну с пылающим сердцем из рассказа Кироги; легкий северо-восточный ветер постепенно усиливается до бриза; Национальная обсерватория, там Дарио видел однажды в телескоп серп луны; модные журналы, последний крик моды — юбка точно такая, как Верена носила ровнехонько двадцать лет назад. Самоубийство двух влюбленных, они поклялись умереть вместе; по воскресным дням — зоопарк, дети таращат глаза на диковинных сопящих носорогов, дико воет волк, тот самый серый волк, что проглотил бабушку Красной Шапочки; и решительный, без всякой причины разрыв с Мартой, «с подружкой на всю жизнь», в этом же зоопарке, где гуси медленно плыли по пруду,

---

\* Начальники полиции при диктатуре.

странные фламинго поднимали длинные розовые шеи, прислушивались к ненужным фразам, которые всегда для чего-то говорят, когда все кончено, и разноцветные поугай кричали в клетках, повторяя бессмысленно слова прощания.

Но Дарио уже понимал, что эти мелкие разрозненные события, казалось бы не имеющие между собой никакой связи, все вместе влияют на человека, формируют его взгляд на мир; он знал, что простые повседневные факты имеют и гораздо более глубокий смысл: из них складывается жизнь общества, его история. А когда революция оказалась в опасности, повседневность приобрела новый особый оттенок, потребовала переоценки. Стало ясно, что все должно слиться в едином общем усилии. Дарио сблизился с Ливию, с Пепе и с другими, он сколотил отряд из ребят своего квартала, и в ноябре они заявили, что хотят вступить в Народную милицию.

Это было их первым сознательным ответом на угрозу контрреволюции. Они шли защищать дело, идейный смысл которого только теперь начинали понимать, все было еще туманно, неясно, и дальнейшая судьба зависела не только от людей, направлявших это дело, но определялась упругим равновесием действия и противодействия; как всегда в таких случаях, в игру вступили не только силы прогресса, но и силы, им противостоящие внутри самого движения, которые становились все весомее по мере развития всего процесса. Как огромный, бешено крутящийся волчок замедляет или ускоряет свой бег под влиянием взаимодействующих сил, так и здесь. Сперва речь шла о борьбе с латифундистами, с ретроgrадами, с противниками реформы. Справиться с ними оказалось не так уж трудно — они не имели поддержки в стране. Враг, по-настоящему опасный, был не на Кубе. Правительство огромной соседней державы для начала пригрело сбежавших с Кубы убийц и бандитов. Потом с неприступной американской земли стали подниматься в небо пиратские самолеты, они убили уже двоих и ранили сорок пять человек; газетные агентства развернули клеветническую кампанию, Государственный Департамент выступал с предупреждениями, и стало понятно, что самая большая опасность грозит революции именно с этой стороны.

Начался бой, раунд на ринге истории. Дарио знал, что создание Народной милиции — шаг решительный и пути назад уже не будет. Речь шла об организации военизированных подразделений. Множество неопытных горожан, не имевших никакого представления о том, как и где воюют, в городе или в окопах, принялись изучать военное дело. Обливаясь потом, они дружно топтали по старой брусчатой мостовой улицы Амаргура и подскакивали как ужаленные при каждой команде инструктора — бывшего моряка по имени Тибурон. В Народную милицию вступили и женщины; такого еще никогда не бывало — они надели черные юбки или брюки и решительно заявили о своем участии в жизни общества, не только в качестве матерей, жен или возлюбленных, но и товарищей по оружию. Однако Дарио самым важным считал то, что Народная милиция была формой непосредственного участия каждого в революции, прямой связи с ней, включала их всех в революционный процесс. Ради революции они взяли в руки оружие, но союз их с ней коренился глубже — каждый понимал: если хочешь спасти общее дело, ты должен быть готовым на смерть. Решимость пожертвовать собой чувствовалась уже в первых импровизированных занятиях. «Автомат Томсон — десять фунтов весу, длина дула десять с половиной дюймов...» Бойцы понимали: мы идем на бой по своей воле и в этом бою должны победить или умереть.

Жизнь менялась, и безликие существа превращались в личности. Все в квартале знали Экспосито, чудаковатого бухгалтера из польской лавчонки. Он получал восемьдесят песо в месяц, корпел над счетами да бегал с поручениями. Так вот, этот самый Экспосито обучал их теперь стрельбе. Он ходил дважды в неделю на занятия в пятый округ да помнил хорошо старые картины о войне — «Возвращение в Батан», «Лиса пустыни». На этом материале Экспосито и строил свои первые уроки. Но больше всего помогало Экспосито страстное стремление командовать, приказывать, отдавать честь, носить форму — одним словом, навсегда вырваться из бесцветного мира старой лавчонки поляка Абрама. Экспосито то и дело нервно снимал и надевал очки, подклеенные пластырем, и так потел, что от него несло, как от вонючки. В детстве, когда играли в салочки, двенадцатилетний Экспосито, тощий и длинно-

ногий, всегда удира́л от Дарио и кричал: «Салочка, догони! Салочка, догони!» А Дарио никак не мог догнать его, осалить! Кусая от злости губы, он мчался вдогонку за Экспосито, только за ним одним, мимо скамеек и деревьев, по камням, вокруг обвалившегося фонтана, среди кокосовых пальм... беспощадное, слепое преследование — догнать, ударить по плечу. «Осалил, осалил, теперь ты салка, вонючка, лужа пота!» И все мальчишки повторяли хором: «Лужа пота, Лужа пота, Экспосито — Лужапота, Экспосито — Лужапота!»

А еще бойцов обучал галисиец Маркос Суньяга, ветеран испанской войны. Он проводил вечера в баре «Куба» или «О'Рейли», пил вино из меха, уныло играл на волынке, вспоминал родину-мать, астурийскую фабиду\*, бои быков и войну, гибельную, опустошительную. В полночь Суньяга будил весь квартал, запевая гимн Риего — «Бесстрашно и весело, мужества полны, поем мы, солдаты, сзывая на бой». Сбегались со всех сторон мальчишки-уборщики, уличные торговцы, юноши вроде Дарио, целые семьи высыпали на балконы и подхватывали припев, нажимая на звук «с», воодушевленные интернациональной солидарностью. «Уж мы-то, кубинцы, всегда знали, кто был прав в испанской войне».

И Суньяга, мучимый воспоминаниями об ужасах поражения и бегства, всегда в мыслях о родной Валенсии и Барселоне, красный, как весь Пятый полк, вместе взятый, и Пепе, и Экспосито, и Дарио, и все другие обыкновенные простые люди, многое поняли в эту зиму. Революция, великие перемены коснулись внутреннего душевного строя каждого. Они знали теперь: может, когда-нибудь придется и нам написать на кубинской земле «No pasarán!» — «Не пройдут!»

И они действительно не пройдут.

---

\* Астурийское блюдо из фасоли или бобов с кровяной колбасой.

Пламя поглощает имения, районы сахарных плантаций взяты в кольцо огня и разрушения, но этот огонь светит нам как маяк свободы... Если недостаточно уничтожить поля сахарного тростника, мы понесем свои факелы в деревни, в села, в города. Ради освобождения человечества, ради достоинства людей, ради наших детей и внуков. Куба будет свободной! Даже если нам придется выжечь все следы цивилизации от мыса Маиси до Сан-Антонио, мы не потерпим больше испанского владычества.

Карлос Мануэль де Сеспедес.  
Приказ от 19 октября 1869 года.

Флоренсио остался в столовой и, как всегда, точил свой мачете. В открытую дверь видно: по узкой тропинке проходит мимо мальчик, ведет под уздцы двух мулов. Дальше сверкают под солнцем поля, переливаются, словно покрытые чешуей. Тишина. Катится грузовик с сахарным тростником. Жаль, тростник пропадает, вон его сколько упало с машины. Листья летят в туче пыли, поднятой колесами. Жарко. Слышно, как капает из крана в раковину вода. Цветной забыл завернуть, беспамятный. День тихий, безветренный. Небо чистое, высокое. Цокот копыт. Из местных кто-нибудь едет на лошади. Нет, на муле. Собака с лаем кинулась за верховым. Вернулась. «Беляночка, поди-ка сюда», — зовет Флоренсио. Он гладит худую грязно-белую спину собаки. У сына точь-в-точь такая же. «А ну, возьми!» — Флоренсио бросает палку. Собака виляет хвостом. Томегин поднимает глаза. Он сидит за столом весь в поту — письмо пишет. «Напиши-ка от меня отцу, что ты великолепный мачетеро, и привет ему», — говорит Флоренсио. Томегин обмахивается газетой. Из барака выходит Маноло. В руках — ножницы. Ни дать ни взять — севильский цирюльник из оперы Россини. Следом появляется Дарио.

Притащили табурет. В тени агавы открывается парикмахерская. Дарио садится и смотрит вверх — как бы птичка не наделала на голову. Но на ветвях агавы ни одной птицы. У Маноло такое правило: ножницы могут быть любые, но бритва севильская, он ее бережет как зеницу ока. Облезлый таз с водой, маленькая

грязная расческа. Пудры нет, зато имеется крошечный кусочек банного мыла. Маноло ухватил клиента за уши. Ну и оброс!

— А ты в самом деле умсешь стричь? — спрашивает Дарио, нагибая голову.

— Спрашиваешь! Да меня же прозвали Фигаро, — отвечает Маноло.

И для большей убедительности щелкает ножницами в воздухе.

— А где ты нучился?

— Там... Наклони голову набок.

Пауза. Падает первая прядь.

— И много тебе приходилось стричь?

— У-у-у! Я целый год работал парикмахером.

— Где же это?

— Там... По тридцать человек в день стриг. И все — обросшие.

— Да кто такпе?

— А заключенные. Я в тюрьме сидел.

Тупые ножницы не режут, а дергают, срезанная прядь щекочет шею.

— В тюрьме? За что?

— За контрреволюцию.

— Кто, ты?

— Я... Фигаро. Такие дела.

Щелкают ножницы. Маноло работает быстро.

— Это еще до Хирона было. Примерно, когда мы боролись с бандами в Эскамбрае. Подними-ка голову. Вот так. Я учился ухаживать за бойцовыми петухами в Тринидад. Я из Лас-Вильяс. У меня и сейчас там мать живет. Ты не вертись, а то могу ухо отрезать. У нас там было много таких, которые против революции. Ну вот. Я не больно-то понимал тогда что к чему.

— Сколько тебе лет-то было?

— Сейчас скажу. — Маноло считает по пальцам. — Двадцать. Я и слыхом не слыхал про революцию. Повернись-ка. Сиди так. Ну вот, и стали болтать. Революция победила, и, значит, теперь, мол, запретят петушьи бои. Тут я совсем отчаялся — как раз только купил хересанского петуха, сам подумай. Да еще испортили меня, развратили... понимаешь? Вот я и стал помогать контрреволюционерам. У тебя волосы торчат, как у психа. Отвозил в горы разное: медикаменты, продовольствие...

— Но ты знал, для кого это?

— Вот сй-богу! Да мне-то что! Я ж не понимал, что такое революция.

— А аграрная реформа?

— Да ну! Лучше и не спрашивай. Был бы ты тогда на моем месте. Откуда мне было знать-то? Я из своего загона для петухов носа не высывывал. За эти дела мне платили. И вдобавок сказали, что они, те, кому я помогал, против коммунистов. А я считал себя противником коммунистов, дурак дураком. Сиди смирно, я теперь с этой стороны ножницами пройдусь. Ну и в конце концов попались мы как миленькие. Оказалось потом, что вожак-то из ЦРУ, подумать только!

— А ты не знал?

— Да откуда мне знать, черт возьми! Своими руками бы его придушил! Ты сиди спокойно. Челку оставить?

— Стриги все. Меньше волос — лучше, прохладней.

— Хочешь сделаем солдатскую стрижку?

— Давай. Только чтоб волосы не торчали, как у ежа.

— Да что ты, ей-богу! Я же Фигаро, не кто-нибудь.

Маноло насвистывает мелодию из какого-то фильма. Щелкает ножницами, «Фигаро, Фигаро, Фигаро, Фи...»

— Ну а потом, как же ты...

— Как я оказался здесь? Попал в списки реабилитированных. Разобрался во всем, понял, что и как. Ты головой не верти, я сейчас бритвой... Меня даже сделали инструктором. И еще — парикмахером. Революция меня спасла! Спасла, и все!

— Я думаю! Ты меня порезал.

— Да нет, что ты! Чуть подарапал. Фигаро никогда не промахнется.

— Сколько же ты сидел?

— Полтора года. А потом выпустили. Работу хотели дать. Хорошо обращались.

Маноло сделался серьезным, перестал стричь.

— Это было самой большой ошибкой в моей жизни. Я не знаю, чем загладить свою вину, Дарио. Люди такое свершили, а я...

— Дел хватает пока что.

— Черт побери! Да я потому и приехал тростник рубить! И не уеду, пока хоть один стебель останется.

Зеркала нету, по ты не сомпевайся, такой стал красавец — всех убьешь.

— Ты, наверно, со мной измучился. Здорово я оброс...

— И не говори!

Дарио стряхивает волосы с воротника, с рубашки, с брюк. Всюду ключья волос.

— Ну, и петушинные бои ты тоже бросил?

— Ладно, не говори лучше... Что ты понимаешь! Петухов я все равно люблю. Просто до смерти люблю, вот что. Надо видеть, что это такое — настоящий петушинный бой, породистые петухи. Хоть глаз ему выключают, хоть совсем ослепнет, а все бросается... На запах крови идет. Здорово!

— Я, правда, никогда не видел петушинных боев. В нашем квартале...

— Что? Петушиного боя никогда не видел? Черт те что, малыш! Поверить не могу! Петушинный бой — это кубинский спорт. Теперь, конечно, уж нет, всякие там азартные игры запрещены. Но ведь как же?.. В любой деревне обязательно есть загон для петухов.

— Это верно. А скажи-ка, вот насчет шпор, правда это? Говорят, петухам надевают на лапы огромные шпоры?

— Вот ей-богу! Да ты пойми...

Томегин все еще пишет свое письмо. Он поднимает голову, смотрит: Маноло, Дарио, табурет под агавой... дальше выгон, за ним — плантация. Над полем поднимается столб черного дыма, качается... Огонь. Пожар. Пожар!

— Э-э-эй! Смотрите! — кричит Томегин и машет рукой. Маноло и Дарио оборачиваются.

— Пожар! — вскрикивает Маноло.

— Огонь! На плантации.

Бежит Флоренсio. За ним с лаем мчится собака. Арсенио вышел из кухни.

— На нашем участке, — говорит Флоренсio. — Надо ехать. Арсенио, давай скорее, собирай людей. Перекинется на другой участок — не остановишь!

Арсенио достает из кармана свисток. Свистит долго, пронзительно, как сирена. Вбегает в барак и снова свистит. Шум, крики. Пожар! Пожар! Кто-то не верит. «Да ну, шутят, конечно, Арсенио острит, как всегда». — «Да вставай же!» — «Пожар на плантации». — «Маче-

те берите с собой». Наспех, как попало, одеваются. Тропелахе подъехал на грузовике. Человек десять прыгают в кузов. Надо спешить. Пако, немного поколебавшись, вскочил на подножку, ухватился за ручку дверцы: «Может, я и немного могу сделать, но все-таки поеду». Белянка бежит за машиной, лает. Папаша застегивает штаны и тут же начинает говорить: «Вы поосторожнее. Огонь — штука предательская. Я один раз видел пожар...» Ветер уносит его слова. Никто не обращает на старика внимания. Подъехали. Слева от машины ползут по полю языки пламени. Тропелахе тормозит. Люди выскакивают из кузова. Жара адская.

В самом деле, настоящий ад. Поле охвачено слепящим пламенем, пышет жаром, трещит... Красиво. Огонь поедает все. Полевые мыши, змеи, муравьи, ящерицы бегут от кары небесной, ищут спасенья. Валится тростник, чернеют, облетают листья. Склоняются гордые верхушки, горят стебли, горит трава, земля горит... Серый и черный густой дым плывет над плантацией. Горячий ветер несет искры. Огонь подползает, невидимый под слоем листьев, и вдруг столбом взвивается кверху. Температура доходит до семидесяти по Фаренгейту. Дикое, невиданное, жуткое зрелище. Удушающий жар. Горит, пылает сахарный лес.

В первую минуту все застыли как вкопанные, не зная, что предпринять. Папаша достал свой красный платок, завязал рот и нос. Флоренсио пошел вдоль дороги поглядеть, велик ли пожар. Счастье еще, что ветер слабый.

— Томегин, Дарио! — кричит Флоренсио. — Тащите пальмовые листья. Бегом! Папаша, бери с собой троих, идите ко мне. Надо обкоп сделать.

— Ты, ты и ты — заходите с той стороны и тоже начинайте копать. Скорее!

Все подбегают к Флоренсио. Он объясняет: сначала надо очистить землю от травы и листьев, от всего, что может гореть, а потом выкопать ров, вот так, по краю поля. Тогда пожар не разрастется, огонь дойдет до сухой земли и начнет гаснуть. Языки пламени пляшут как безумные, ищут пищи, но вот наконец они начинают сдаваться, постепенно отступают... снова кидаются в бой. Огонь то взлетает высоко вверх, то опускается, разбегается по полю мелкими вспышками. И вдруг, словно найдя брешь в укреплении, бросается на штурм —

перекидывается через ров, угрожая соседнему участку. Вспышки слились в один столб, он растет, движется вперед рывками.

Принесли пальмовые листья. Папаша, Томегин, Пако и Дарио бегут по полю. Жарко, свет пламени слепит, душит капсель... Останавливаются, снова бегут. Дым ест глаза. Невозможно дышать. Они бьют пламя листьями, прижимают его к земле. Огонь вырывается. Бой. Нечем дышать. Пальмовые листья загорелись. Надо гасить. Руки обожжены. Вперед! Сил нет больше, ничего не выйдет. Нет, все-таки огонь немного спал. «Бери мачете, окапывать будем». Адские силы наступают со всех сторон. Рукава рубашки тлеют. Еще столб огня. Вперед! Родина или смерть! Папаша бросается прямо в огонь. Черное блестящее тело в пламени — словно головешка. Порыв ветра. Томегин обеими руками закрывает лицо. Ветер гонит дым навстречу. Вот так же мы боролись с саботажем в Эль-Энканто. Дым, жара, будто извержение вулкана. Помню, одна женщина облила себя бензином и подожгла, такой же был столб огня и двигался. Давай, давай! Топчи его сапогами. Рубашка горит. Пако совсем растерялся. Серая цапля не спаслась от гибели. Дым забивает ноздри, все сильнее и сильнее. Не могу больше, задохнемся. Огонь перекинулся через ров. Надо гасить. Дышать нечем.

— Эй ты, Дарио! — кричит Флоренсио. — Идите с Папашей туда, назад, и подожгите, чтобы был встречный столб.

Дарио бросает пальмовый лист и, тяжело дыша, бежит следом за Папашей. Они пересекают участок по меже. Скорее, огонь движется быстро. Надо преградить ему путь, забежать вперед и пустить другой огненный столб ему навстречу. Пусть пламя пожрет пламя. Только сегодня утром Дарио уронил где-то здесь свой бросок. Теперь уж пропал, не найдешь. Дарио задыхается. Старый негр бежит впереди, и хоть бы что. Огонь меняет все вокруг и поминутно меняется сам. Какое большое поле! Дарио останавливается на миг, чтобы отдышаться. Ну вот, добежал. Папаша нагнулся, собирает листву. Надо сделать факелы и расставить по борозде. Теперь подожжем. Огонь постепенно передвигается. А теперь отсюда. Слышится потрескивание. Папаша и Дарио стоят в ожидании. Тишина. С той стороны под-

ступает второй столб огня. Листья сейчас сухие, и ветер оттуда. Искры летят. Пламя разгорается.

Из глаз старого негра катятся слезы. Дарио и Папаша медленно отступают. Сначала дым вьется тоненькой спиралью — белый-белый. Потом постепенно синеет, становится серым и наконец — черным. Пламя растет. Это хорошо. Давай, бей врага! Огонь набирает силу, пожирает все, тянется вверх, движется вперед. Навстречу шагает другой огненный великан. Вот они уже близко. Столкнулись, сшиблись. Бой за каждую пядь земли. Гиганты то сцепляются, то расходятся. Каждый пытается захватить побольше места, вот снова сцепились, слились, закружились... рассыпались. Люди наступают, мечете рассекают воздух. Минута замешательства. Враг пытается вернуться на прежние рубежи. Тихонько подползает. Бросается на людей, на них двоих — на Папашу и на Дарио... Но Дарио с Папашей уже на дороге.

Начинают копать новый ров. Подходит Флоренсио, что-то говорит. Ничего не слышно. Жарко. Пепел летит со всех сторон.

— Ну, вроде справились, — говорит Папаша. — Теперь огонь топчется там посередке. Съест все до последнего, а тогда уж приползет сюда. Ну, тут ему и крышка.

— И хорошо. А то я совсем задохся. Кажется, мы вовремя его перехватили.

— А как же, парень. Хорошо, что мы пустили встречный. Я думаю, он...

Дарио не слушает. Он смотрит на огненный вихрь посреди поля. Как он красив, буйный, красный, умирающий...

То было время бурного роста, день ото дня. Долой все старое, привычное! Дарио навек порывает с миром лжи, в котором вырос, и весь, безраздельно, отдается великому делу освобождения масс. Только в борьбе смысл существования. Он знал, что бессмертные идеалы, мечты молодых воплощаются в жизнь лишь в решающие минуты, на крутых поворотах истории. Он верил в чистое пламя революции до конца, беззаветно, по-якобински, поклонялся героям, свершавшим небывалые подвиги во имя свободы, восхищался духовной стойкостью людей, которые поднялись все как один в

ответ на призыв переделать жизнь. Дарио был неприимим ко всему отжившему, грязному. Возможность действовать воодушевляла его сама по себе, и он не очень-то предавался размышлениям. Голова пылала от романтических лозунгов, от высоких слов. Слушая горячие речи и пламенные патриотические клятвы, юноша наивно полагал, что с реакцией и застоем покончено навсегда, компромиссы и уступки уже невозможны, и больше никто не остановит нас на нашем пути. Для Дарио существовал только один выбор: родина, которую он так нежно любил, или смерть — без сомнения, мы все предпочтем смерть, если родина погибнет. И Дарио работал, боролся, активно участвовал в общем деле — воевал против американских империалистов, национализировал иностранные предприятия, дрался с врагом и с каждым днем яснее и яснее понимал: в сложном современном мире человек, а тем более народ должен взять все ценное, что осталось ему от прошлого, по найти свой собственный путь. По этому пути надо идти не отклоняясь, что бы ни случилось. Иначе останется только одно: покориться, смириться навсегда со своей жалкой участью.

Дарио, как все, учился быть революционером в самом ходе революции. В огне борьбы он постигал смысл таких понятий, как «класс», «империализм», «внутренняя реакция». Постепенно созревали взгляды, не похожие на прежние, устаревшие. Дарио жаждал новых идей, новых образцов для подражания, искал свой, самостоятельный путь. Мы обрели право думать и теперь смотрим на жизнь трезво, мы отвергаем высокомерие западного мира и в крестовом походе за правду, равенство и справедливость вырабатываем свою этику. Рождалось стремление создать такое общество, где человек человеку действительно может стать братом. Дарио верил неизбежно в будущее своей страны, в чистоту революции. И в то же время сам он складывался как личность. Появилась возможность расти, вырваться из серой повседневности, не быть посредственностью, выйти на свет из мрачной трущобы, приобщиться к сияющей славе героев и чудотворцев. Действовать, участвовать, занимать свое место в истории. Росло революционное самосознание и созревал человек — решительный, пламенный, мечтательный и веселый.

Он был искренен, впечатлителен и горяч. Часами плясал, радуясь какому-нибудь пустяку, и мучительно скорбел о тех, кто пал в революционной борьбе.

Дарио стоял в толпе перед президентским дворцом, перед памятником Хосе Марти на площади Революции. Теснота такая, что яблоку негде упасть. Юноша радостно ощущал свое единство с людьми, чувствовал силу, исходившую от них, сплоченных любовью к родине. Голосовали за Гаванскую декларацию, народ Кубы, Кубы XX века, вершил свою историю. Незабываемые минуты! Голос Фиделя плыл над морем голов, вскинутых к небу знамен и рук. Невольные слезы жгли глаза, люди были охвачены единым порывом, и Дарио знал, что отдаст все за революцию, за свое кровное дело.

Шел тысяча девятьсот семидесятый год. Дарио свято служил революционному народу, боролся за осуществление самой прекрасной своей мечты. Жизнь юноши навсегда слилась с судьбой родины. Построение нового справедливого общества, таинственное его рождение обещало Дарио счастье, жизнь, и он не спал ночами от волнения и радужных надежд. В этом же году с Дарио произошло и нечто более важное: раздвинулся его духовный горизонт, он словно заново родился. Революционер — прежде всего человек. Страстная преданность великому делу сочетается в нем с не менее страстной любовью к жизни, сила, преобразующая мир — с силой чувства, забота об общем благе — с нежной заботой о любимом существе. Вечный бой не мешает отдыху, труд неразлучен с мечтой, жизнь для истории — с жизнью здесь и сейчас, мысль о славе — с мыслью о простых радостях, воля — с чувством, жесткая требовательность к другим — с полной отдачей себя. И вот в самый разгар великой исторической эпопеи свершилось доселе невозможное: Дарио соединил свою судьбу с Марией, с той, что звала его взглядом темных глаз цвета сухой листвы.

Дарио бежал к ней сквозь лес флагов и знамен, он расталкивал взволнованных людей, которые выкрикивали лозунги и бросали вверх шляпы, патыкался на ноги сидевших на земле... И наконец оказался рядом с Марией. Дарио изнемогал от волнения: немыслимо жаркий день, история свершается у нас на глазах и — Мария здесь, Мария с темными глазами цвета сухой листвы. Они пошли домой вместе, мимо людей, которые

пели и разговаривали; они болтали о всяких пустяках, об общих друзьях, обо всем, что произошло, немного о будущем, немного о настоящем, о своих надеждах. Они предчувствовали, что через минуту все сгорит под отвесными лучами полуденного солнца и останутся только море, шляпа с лентами, упавшая на песок, да вкус ее губ, жадных губ. Раскаленный соленый пляж, жар, объемлющий тело, кто-то оставил на песке полотенце, а на нем — зеленые очки в белой оправе, горячие тела тянутся друг к другу. Далеко в море плывет на спине одинокий купальщик... Они говорят что-то, но ветер уносит слова. Вдруг темная туча закрывает небо. Но ненадолго. А тела все тянутся друг к другу, дрожащие руки Дарио медленно скользят по ее плечам, шее, по мокрым волосам, в которых сверкают песчинки. Высунулся из песка краб. Дарио крепко сжимает ее в объятиях, находит губами ее губы, и она отвечает... Одежда жжет тело. Полуденное солнце льет с высоты яростное пламя. Огонь, все пламенеет вокруг. Ноги сплетены, любовь, жизнь, страсть, кровь, тело. Зонтик едва прикрывает их головы. Глаза закрыты, из уст рвется крик. Весь мир — сдерживаемое желание. Сверхплось. Освобождение. Босые, они бегут по раскаленному песку. Бросаются в холодную воду. Поплывем! Поплывем вперед, далеко-далеко! Постой. Вода по шею. Они опять обнимаются, сплетаются. Волны сбивают их с ног, разлучают, снова бросают друг к другу. Огромное, бесконечное море вокруг, оно занимает три четверти нашей планеты. Солнце прямо над головой. Два тела слились в одно. И снова волны хотят разлучить их, перекатываются через головы, вода наполняет уши, нос, рот, раскрытый в радостном вопле. Чистое, ясное небо над головой. Бескрайнее море, сколько в нем рыб! И два маленьких сплетенных тела, и синяя вода. Прищурив глаза, Дарио видит далекий парус, он качается на волне. Дрожь опять пробегает по телу... Толчок, удар, взрыв... вода, земля, солнце, парус и само время — все замерло. Миг бессмертия и вечности, ибо сейчас они — продолжатели рода того странного двуногого существа, что живет, думает, страдает, любит, борется. умирает и без конца, без конца, без конца повторяется в этом мгновении необъяснимого счастья.

В те дождливые месяцы Дарио и Мария были счастливы, по-настоящему счастливы. Они искали друг

друга в толпе, встречались поздно вечером после работы, возвращались пешком по улицам, окружающим Капитолий, через парк, засыпанный сухими листьями, темно-коричневыми, как ее глаза. Мария открыла Дарио целый мир — мир чувства; конечно, он понимал, что любит, как всякий юноша в любом уголке Земли, но в то же время ни сам Дарио да и никто на свете никогда не любил так. Ни Вертер, ни Ромео, ни все другие влюбленные, о которых он читал, не могли бы сравниться с Дарио, так велика, так неповторима его любовь!

И все же эта романтическая осень была последней. Светлый юношеский взгляд на мир, на любовь отошел в прошлое. Круто повернулись события, и Дарио стал жестче, закалился, окреп. Потому что именно в эту осень начались контрреволюционные вылазки и провокационные взрывы, в эту осень возникли комитеты обороны, была проведена чистка, объявлена мобилизация — словом, стало окончательно ясно, что последовательное проведение в жизнь принципов революции — дело вовсе не легкое и нечего ждать ни тишины, ни успокоения. И в эту же осень начались первые неистово бурные ссоры с Марией, которые тут же сменялись порывами нежности.

Главная квартира Освободительной армии.  
Плантация «Ми Роса»  
10 января 1896 года

Поскольку рубка тростника в западных районах приостановлена и нет необходимости в поджоге плантаций, объявляю:

1. Поджог плантаций сахарного тростника категорически запрещается.

2. Нарушители настоящего распоряжения независимо от их звания и занимаемого в армии поста во имя революционного порядка будут преданы суду по всей строгости законов военного времени.

3. Сахарные заводы, которые, несмотря на настоящее распоряжение, попытаются возобновить работу, будут разрушены.

4. Все мирные жители острова Куба независимо от их национальности пользуются личной неприкосновенностью и имеют право беспрепятственно заниматься сельскохозяйственными работами на своих участках.

*Максимо Гомес*

Наконец огонь начал гаснуть. Ветер повернул к западу, в противоположную сторону. Мачетерос уселись на краю дороги, отирая пот. В черной листве перебегают уцелевшие ящерицы. Пчелы, привлеченные сладким запахом сока, облепили тростник. Время от времени потрескивают стебли, охваченные последними языками пламени. Сине-розовый дым поднимается с середины поля, заволакивает все небо. Здесь, у дороги, догорают несколько кустов вереска — извиваются, корчатся в дыму. Люди выпустили наконец из рук липкие от сока мачете. Некоторые не сняли еще с лица почерневшие платки. Ветер несет копоть, мачетерос щурят воспаленные глаза.

— Хорошо, что не перекинулось на другой участок, — говорит Томегин.

— Я такого никогда не видывал. Ад кромешный! — замечает Пако, обмахиваясь шляпой.

— Это еще ничего. Если б ты видел, какой пожар случился когда-то там, где я был... — говорит Папаша.

Свои белые нарукавники старик снял еще раньше и, аккуратно свернув, положил на землю. Он стоит на дороге, стругает мачете обгорелый тростниковый стебель и смотрит на опустошенное поле грустными глазами, будто жалеет, что пожар был на этот раз невелик. Черный торс Папаши блестит.

— Иди ты со своими врачами! — восклицает Дарпо.

— Ничего не врачи, приятель. Мои старые глаза видели такое, что тебе и не снилось. Вот, представляешь, как-то раз, в пятидесятом году, рублю это я

тростник, точно такой же был денек, как сегодня, и вдруг слышу, шуршит будто что-то, чудно так. У меня слух как у лисы, это точно, я все слышу на версту кругом. Один мой друг, Рафаэль его звали, — он был испанец, но давно жил на Кубе и держал погребок в квартале Святого Исидро, — ну так вот, Рафаэль мне однажды и говорит: «Ты мне скажи, как услышишь, что «Маркиз де Комильяс» вошел в бухту, потому что на этом корабле ко мне должен родственник из Испании приехать...»

— Будет врать, Папаша! Тебе приходится орать на ухо, чтоб ты услышал, — кричит Пако.

— Это просто когда я задумаюсь. Вот один раз, представляешь...

— Стой, Папаша! Ты ведь начал рассказывать про пожар, верно? — говорит Томегин.

— А, правильно. Ну так вот, я и говорю: рублю это я тростник и слышу: шуршит чудно как-то. Поворачиваюсь вот так, поднимаю голову и вижу: огромнейшее пламя идет прямо на меня вдоль межи. Высота — футов пятнадцать, да какие там пятнадцать, все двадцать будет! И — прямо на меня. А я один-одинешенек как перст. Все ушли с поля, потому что приехал цирк, знаешь, бродячий, они иногда появлялись на сафре. Барахло, а не цирк! Я как-то раз тоже пошел посмотреть, там один тип изрыгал огонь (эка невидаль!), ну а я вот так присел сзади него и гляжу, как он этот фокус делает? И знаешь, что оказалось?

— Он набрал в рот керосину и дунул в огонь. Я этим месяца три занимался. Вот так! — говорит Мавр.

— Ты? Зачем? — спрашивает Пако.

— Из любви к искусству. Не понимаешь, что ли? У меня четверо детей, мы дошли с голоду. Тут чем угодно займешься. Но потом появились конкуренты, я и переменял специальность. Слишком много развелось изрыгателей огня. Они даже в парках устраивали свои представления, и публике наконец надоело. Пришлось мне бросить это дело. Я тогда вот что изобрел: стал есть бритвенные лезвия. Жевал их как резинку. А потом обходил публику со шляпой и собирал на прокорм для своей мелкоты.

— И ты вправду их ел? — Пако недоверчиво смотрит на Мавра.

Мавр снова открывает рот. У него нет ни одного зуба. Десны стертые, твердые, черные.

— Ну, значит, тебе в самый раз размазня, которой нас пичкает Арсенио, — весело говорит Папаша.

Но никто не смеется. Мавр сжимает губы. Поле все еще пышет жаром. Пако стягивает сапог. Небо затянуто тучами. Хоть бы дождик пошел!

— Вижу: огромный столб огня. — Папаша продолжает свой рассказ.

— А все ушли в цирк, ну, дальше? — торопит Дарио.

— Точно, приятель, все ушли. Я один-одинешенек, стою и смотрю. Ладно, я тогда говорю себе: Пабло, ты должен погасить пожар. Хватаю мачете и начинаю копать. Копаю, копаю и вдруг гляжу — огонь совсем рядом со мной. Бегу по меже и поджигаю с той стороны встречный. Надо знать, как его направить. Я-то знал, потому что один раз, когда я гостил у родственников в Сагуа...

— Черт возьми, Папаша! Ну как ты рассказываешь? Бормочет, как попугай! — Пако почесывает ногу в рваном чулке.

— Сами-то вы хороши! Ничего не знаете, ничегошеньки! Сидите в своей Гаване, словно какие-нибудь буржуи. Ну-ка, скажи, тебе когда-нибудь раньше приходилось тростник рубить? А?

— Бог миловал.

— А есть без ложки?

— Ладно, ладно. Нечего хвастаться, здесь всем одинаково достается, все мы, как Иов, маемся.

— Как кто?

— Иов... Был такой. В Библии.

— В такие штуки я не верю. Это дело священников. У нас в деревне был священник, так его прозвали Керосия. Вечно, бывало, пьяный. Я помню, один раз...

— Ради бога, хватит, Папаша! — Дарио поднимается с камня, на котором сидел.

— Да, здорово Папаша пули льет.

— Что теперь будем делать? — спрашивает Мавр.

— Надо подождать Арсенио, он поехал сообщить о пожаре, — отвечает Пако.

— Я, пожалуй, пойду встречу его по дороге, — заявляет Дарио.

— И я с тобой, — предлагает Мавр.

— И я, — откликается Папаша.

— Почему не подождать его? До лагеря километра два. Только устанем, и все, — замечает Пако.

— Оставайся, если хочешь. А я пойду.

— Ладно, ладно. Я тоже с вами.

Отправляются в путь. Небо постепенно темнеет. Ветер порывами дует в спину, осыпает пеплом. На тропинке — следы волов, выбоины, камешки, трава... Родная, освобожденная земля. Звенят москиты, тучами выются над головой. По обеим сторонам — поля сахарного тростника. Посреди дороги — дерево. Они останавливаются. На коре вырезано ножом: «Здесь был Певец. Апрель 1965. Мы победим». Они вырезают тоже: «Здесь были Папаша, Мавр, Пако и Дарио. А еще — Томегин и Фигаро». Идут дальше.

Папаша насвистывает единственный известный ему блюз: «Ну до чего же чудно в раю». Мелодия Боролина, Папаша ее выучил, когда работал в казино. Портрет Папаши поместили в журнале «Ревю», да, да. Но никто больше не слушает рассказов старика. Все устали. Образы прошлого преследуют Папашу: два огромных негра в роскошных восточных одеждах выносят на открытую эстраду «Тропиканы» паланкин. В паланкине — знаменитая танцовщица Бренда. Цветные прожектора освещают могучую фигуру высокого негра в белой набедренной повязке. Опахалом из синих перьев негр медленно обмахивает стройные ноги Бренды, виднеющиеся из-за бисерного занавеса паланкина. Он не сводит глаз с белых прекрасных ног, луч прожектора скользит по его торсу, по мускулистым рукам, обвитым оранжевыми лентами, негр все машет опахалом, а перламутровая богиня любви начинает свой сладострастный танец. Да ну! Кривляние, фарс, театр!

Там был еще один негр, он приближался с улыбкой к танцовщице, она протягивала унизанную перстнями руку, выходила из паланкина и на какой-то миг оказывалась в черных объятиях... Так вот, этот второй негр встретился как-то Папаше и предложил работу в «Тропикане» — роль в новом ревю, где как раз требуются два рослых негра, чтоб все получалось в точности, как в сказках «Тысячи и одной ночи». Папаша сперва отказался, все это ему вовсе не улыбалось, потому что того негра не зря прозвали Цветок Коварства, и Папаша не хотел впутываться во всякие истории. Однако место было выгодное: работать вечерами, плата

хорошая. Дела по перевозке мебели шли совсем плохо. Папаша согласился и стал артистом, танцовщиком-профессионалом. Папаша выносил Бренду на эстраду в течение трех недель, на четвертую его приняли за Цветок Коварства, и пошла потеха — дрались прямо на эстраде. А на следующий день Папаша прославился на весь мир — его фотографию поместили в журнале «Ревю». Только лучше об этом не рассказывать. Подумают, пожалуй, что и Папаша такой же, как Цветок Коварства. Так и быть, расскажу немного по-другому. Старик снова начинает насвистывать ту же мелодию.

Пако с трудом догоняет Дарио. Они идут впереди всех.

— Потерпи немного, — говорит Дарио. — Устал?

— Да, порядком. Это хуже, чем я думал, — отвечает Пако. — Ну а ты? Как тебе работается с Папашей? Обгоняет он тебя?

— Когда как. Каждый делает сколько может.

— Ты сколько срубаешь?

— Наверно, по сто пятьдесят или около того.

— А я даже до семидесяти в день не дотягиваю. Не получается. Мне кажется, я был бы полезнее в другом месте. А? Как ты думаешь?

Дарио не отвечает. Оба немного запыхались от быстрой ходьбы.

— Я так говорю, потому что... Можно служить родине по-разному... Ну и жар! Я-то, конечно, ничего, только... В конце концов, если на то пошло, я же счетовод. Ты-то знаешь. И я не привык... Давай отдохнем немного.

Они останавливаются. Рядом банановая роща. Тихо, свежо, мачетерос почти каждый день ходят сюда «писать письма», то есть облегчать желудок.

— У меня плоскостопие. Стоять не могу.

— Конечно, трудно. На рубке приходится быть на ногах целый день.

— Иногда, кажется, вот сейчас упаду. Голова кружится.

Дарио смотрит на ноги Пако. Похожи на гусиные лапы. Как у Ла Наве, портного из нашего квартала. Тот, когда напивался, всегда сбрасывал ботинки. Бывало стоит босиком, качается и кричит, что идет ко дву.

— А супинаторы у тебя есть?

— В туфлях. Но в сапогах-то их нет. Сдохну я тут.

Некоторое время оба молчат.

— Дарио, — спрашивает Пако, — ты думаешь... думаешь, я выдержу?

— Что?

— Да вот, сафру. По-моему, я заболею. Солнце меня просто убивает. А теперь еще этот пожар. У меня все лицо горит как в огне. Вот потрогай-ка лоб, потрогай. Наверное, температура.

— Лоб холодной, чем у покойника.

— Но я же весь в поту. Я чувствую, чувствую, со мной что-нибудь случится. Может, у меня тиф? Знаешь Дарио, здесь ведь тиф. Видел, какая тут вода? От такой воды что угодно можно схватить.

— Вода как вода. Из колодца. Все ее пьют, и никто пока что не заболел.

— Пока что, пока что... А я тебе говорю, в этой воде бациллы. Ты видел, какого она цвета? Красноватая, как тина. Боже мой! Если я здесь заболею тифом, я пропал.

— Хватит пускать слюни. Никто не заболел... Просто ты хочешь уехать, смыться. Сдрейфил. Ну и ладно, катись!

— Да нет же. Нет, нет! Я ничего. Я в порядке. Просто я плохо переношу жару. Дарио, я думаю... Ты как считаешь, я выдержу?

— Это от тебя зависит.

— А если поговорить с Флоренсио? Попрошу, чтоб перевел меня на кухню к Арсенно, пока заживут волдыри на ладонях... А? Как ты думаешь?

— Флоренсио пошлет тебя куда подальше. Потерпи. Первые дни тяжелей всего.

— Ты думаешь, я смогу?..

— Постарайся.

— Да, да. Дай-ка глоток воды.

— Из колодца, смотри.

Дарио протягивает ему фляжку. На дне осталось немного воды. Пако колеблется. Потом отвинчивает пробку. От этой воды можно заболеть тифом. Ну и пускай! Вот он сейчас ее выпьет, и никто больше не скажет, что Пако сдрейфил! Папаша делает им какие-то знаки, Пако, закрыв глаза, пьет. Вода щекочет горло. Он за-

болеет тифом, и его отправят в город. По крайней мере сафре конец.

За несколько минут до смерти боец народной милиции Эдуардо Гарсия, погибший в обрушившемся доме, своей собственной кровью написал на стене имя Фиделя.

На другой день было воскресенье — печальное апрельское воскресенье. Весна только еще начиналась. Солнце лило яркий свет на оливковые береты, топот сапог раздавался по всей улице, медленно двигалось к кладбищу погребальное шествие — хоронили погибших от вражеских бомбардировок. Со стен высоких современных зданий свешивались флаги, оббитые черным крепом: смерть, как преданный друг, шагает всегда рядом с революционером, подлинно исторические свершения неразлучны с трагедией. Мы это поняли, когда прошли там, где на углу улиц двенадцатой и двадцать третьей так недавно стояли еще ночной бар, кафе (любая закуска — три цента), а дальше, немного наискосок, — кино, где демонстрировались новинки, и китайский ресторан, и магазин, где продавали мраморные плиты и надгробия, лавка с цветами, корзинами и гирляндами, а за ней по-своему даже элегантный магазин Вулворта «Любая вещь — 10 центов»... Мы шагали от улицы Рута, 32, до пляжа, по двадцать восьмой к стадиону дель Серро, по второй к Вибора, где еще светились неоновые рекламы «Пейте папиток кови», «Пейте кока-колу». Мы ощутили всю мрачную суровость истории, когда стояли перед фанерной трибуной, сооруженной прямо посреди улицы; трибуна была окружена цветами, окутана терпким запахом лилий, нежным ароматом роз, благоуханием хризантем, гладиолусов, гвоздик, виол, георгинов. Вновь и вновь сыпались цветы, люди отдавали последний долг погибшим.

Дарио видел рядом с собой скорбные лица Ливлио, Пепе, Экспосито — всех тех, кто учился быть солдатом, кто впервые вместе с Дарио взял в руки оружие. Юноши окружили трибуну, сцепив руки, влажные от волнения; перекрывая громкоговорители, они пели «Гимн 26 июля»:

О крови солдат, что на Кубе пролита,  
Нам не забыть. Та кровь горит, горит огнем,  
И потому к единству мы зовем.

Они поняли, как сложна жизнь. Поняли, что юношеские мечтания, стремление любить, смеяться, наслаждаться жизнью — все туманно, бесцветно сравнительно с этими скорбными, бесконечно значительными минутами, когда двести тысяч человек, заполнивших улицы, в ответ на призыв Фиделя вскинули вверх автоматы и поклялись защищать до последней капли крови революцию угнетенных, за угнетенных и для угнетенных, социалистическую демократическую революцию, что свершилась под носом у империалистов.

Началась настоящая война, непрерывный бой против тех, кто спрятался во Флориде, в Гватемале, в Никарагуа и, опираясь на своих хозяев, мечтал о возврате. Наполовину созданный новый мир, в котором жил Дарио, грозил исчезнуть. Настал час решающей битвы: пусть никогда не возвращаются тирания, латифундисты, банкиры, пусть навеки уйдут в прошлое призраки конституции сорокового года — так называемая свобода печати и представительное правление. Дарио боролся за сохранение своих прав, добытых с таким трудом. Эти права состояли не только в пользовании коллективной собственностью, не только в улучшении благосостояния народа, нет, тут было нечто гораздо более важное, жизненное, глубокое: бесконечное расширение человеческих возможностей, широко распахнутые двери в будущее, к культуре, к расцвету личности. Дарио защищал себя, своих друзей, таких же, как он сам, ребят из нашего квартала, он шел на бой за независимость своих взглядов, за свершение надежд. Только в революции могли осуществиться его мечты, вне революции не оставалось ничего, кроме жалких воспоминаний.

На рассвете 17 апреля в Ла-Сиенага-де-Сапата на Плайя-Хирон началось вторжение. Дарио и его друзья узнали об этом позже, уже в автобусе, который вез их к месту битвы, навстречу смерти, мимо Хагуей и плантации Австралия, объезжая зоны туристского отдыха, мимо лагуны дель Тесоро, где охотились на крокодилов — они лежали в теплом иле, разомлевшие от жары, мимо извилистых каналов, где ловили форель, стреляли влет диких уток, а по ночам с жердями и фонарем в руках выходили на ловлю гигантских лягушек; мимо домиков, выстроенных на манер туземных хижины специально для туристов и новобрачных, при-

езжавших любоваться пышно цветущими джунглями. Теперь этот фантастически прекрасный пейзаж должен был превратиться в поле боя.

Они узнали об этом в автобусе, когда ехали по единственной, недавно проложенной дороге. Неожиданно в небе появились два «Б-26» с опознавательными знаками кубинской авиации. Но знаки эти были фальшивые. Пролетев низко над землей, самолеты сбросили бомбы и обстреляли из пулеметов ничего не подозревавших дружинников и солдат. В грохоте взрывов, криков, одиночных выстрелов люди выскакивали из автобусов, катались по земле, пытались укрыться за деревьями; автобусы горели, разваливались, раненые бились, извивались в них... Дарио и Экспосито лежали на камнях на опушке леса. Позади бушевал пожар. Как горячо любили они жизнь в эти мгновения, когда беспощадная смерть подступила так близко! Люди перебежали с места на место, некоторые в ужасе прижимались к земле. И вдруг, заглушая свист пуль и снарядов, вопли и стоны раненых, над болотами и деревьями взвился крик, бесстрашный, отчаянный, безумный:

— Родина или смерть!

Человек, весь в пыли и грязи, поднялся и стоял качаясь; он поднял к небу искаженное лицо и глядел вверх через разбитые очки. Потом вскинул автомат, дал одну, две, три очереди, закричал и побежал через поле, словно хотел догнать вражеские самолеты. Он вызывал их на бой, ругал, проклинал... Самолеты развернулись, зашли на цель, и бомбы обрушились на уже пустые автобусы и на странного человека, который все еще яростно кричал:

— Родина или смерть! Родина или смерть!

Это был Экспосито. Кто бы мог подумать! Тот самый Экспосито — Лужа пота, над которым смеялись все в квартале; молодой конторщик, ловкий счетовод, а потом — инструктор по стрельбе. Когда другие боролись против тирании, он пальцем не шевельнул. А теперь он лежит на земле мертвый в форме бойца народной милиции, прижимая к груди автомат. Экспосито бесстрашно бросился на врага, он подал пример, увлек за собой.

— Родина или смерть! — закричали все. — Родина или смерть!

Люди вскочили, словно поднятые какой-то волной; всем сердцем ощутили они глубочайшее историческое значение происходящего, поняли, что история — это и есть то, что делают сейчас маленькие, незаметные люди, такие, как Экспосито, как они сами. Жизнь обретает смысл только в борьбе за идеал, поэтому они и оказались здесь. Человек рождается, растет, влечит бремя существования, и все это совершенно бессмысленно. Но если ты действуешь во имя осуществления высоких целей, если ты способен умереть за свои принципы — тогда твоя жизнь не напрасна. В голове смешались возвышенные мысли и какие-то пустяки, блестящие идеи и абсурдная путаница, далекие воспоминания и образы, только что запечатленные. Чистой нежностью и темными страстями переполнилось сердце; за один этот страшный миг пролетела перед глазами вся жизнь вплоть до сегодняшней встречи со смертью. И свершился мгновенный переход от страха к мужеству, от трусости к героизму, презрение к смерти взяло верх над инстинктом самосохранения. Тот, кто только что дрожал от страха, смело идет на врага. Отряд дружинников, организованный Дарио, Пепе и Ливио полтора года назад, когда никто не представлял себе, как близка опасность, и не думал о бомбардировках, получил боевое крещение. Они поднялись из своих укрытий, выбежали на дорогу и открыли огонь по самолетам. Многие в тот день были впервые ранены, и все преисполнились решимости выбросить захватчиков с родной земли, чего бы это ни стоило.

Вдруг среди темных туч появились три старых самолета с опознавательными знаками республики, они летели, с трудом сохраняя строй. Первым шел самолет «сифьюри», присланный когда-то по программе американской военной помощи для защиты кубинского неба от проникновения коммунизма. Он обошел слева вражеский бомбардировщик, пристроился ему в хвост и дал длинную очередь. Крыло пиратского самолета оказалось поврежденным, он потерял устойчивость, загорелся и начал падать, разваливаясь в воздухе на куски. Тем временем «Т-33», другая машина этой творившей чудеса кубинской эскадрильи, несмотря на свое жалкое оборудование, ловко маневрировала, стараясь поудобней подойти к цели, ускользала от огня противника, каждую минуту рискуя потерять управление и

перейти в штопор. К своему удивлению, второй «Б-26» остался один против трех машин, которые он, видимо, считал сбитыми несколько дней тому назад. Его яростно преследовали те, кто, по заверениям начальства, должен был встретить пришельцев с распростертыми объятиями как спасителей и братьев. Выжимая из моторов все, что можно, огромный «Б-26» стал набирать высоту — тысяча, две тысячи футов, он ударил в направлении моря, преследуемый по пятам самолетами революционного воздушного флота, рожденного тут же, в огне битвы против захватчиков.

Был получен приказ продвигаться к Пальпите, где сгруппировались отряды наемников. Неожиданно спустилась ночь, топот сапог по пыльной пустынной дороге заглушал таинственные звуки джунглей: пронзительно кричала сова, тяжело пыхтел в чаще кабан, тревожно переключались в зарослях испуганные обитатели. Но постепенно все слышней становились отдаленные выстрелы, свист трассирующих пуль. С ранцем за плечами, готовый к бою, шагал Дарио и думал о генерале Панфилове, о его людях, о том, что такое родина; вспоминал книжку в зеленой обложке, где было написано: «Родина — это ты. Убей того, кто хочет тебя убить». Дарио прочел ее несколько месяцев тому назад. Он не знал тогда, как скоро ему суждено самому изведать в бою чувство родины. Теперь он понял: родина — это я, человек, бредущий в ночи навстречу врагу, и враг мой даже не чужеземец, он родился здесь, так же как я, но все продал и предал, потому что родина для него — латифундии и имения, банки и доходные дома, сахарные заводы, огромные магазины, шахты, бары и кабаре — все то, что неотделимо от эксплуатации, политиканства и преступлений. А для Дарио родина неощутима, невидима, не щит и не знамя, не поля, леса, горы, болота и реки, которые он должен отстоять; не крохи частной собственности, ради которых захватчики явились сюда, не справедливое правление и закон, одинаковый для всех кубинцев, не история, спрессованная в учебниках, не родные легенды, народные песни и крестьянские гуаяберы\*, не долина Виньялес или Юмури. Нет! Родина — это национальное представление о человечности. Не

---

\* Крестьянская куртка (кубинский национальный костюм).

отвлеченное, абстрактное, книжное, нет, подлинная человечность, в которую входили и горячая боль за Экспосито и за других павших в бою, и чувство братского единства с теми, кто шагает сейчас рядом, и твоя честь, достоинство, твои идеалы, твоя борьба, любовь к Марии и любовь каждого из твоих друзей к своей невесте, вера в человека, в товарища, в народ — все то, что казалось невозможным, немыслимым и что теперь они ощутили, испытали на деле, увидели воплощенным в жизнь.

И меньше чем за семьдесят два часа было покончено с попыткой вторжения на Плайя-Хирон, в The bay of pigs,\* развеян миф об американском могуществе. Семьдесят два часа длилось наше крещение огнем.

---

\* Залив свиней (англ.).

**ВЕЧЕР**

В те счастливые и веселые годы (1916—1930) Куба превратилась в огромную сахарную плантацию Соединенных Штатов и Англии. Только в Вуэльтабахо по-прежнему сажали табак и в Гаване изготавливали сигары для наших соседей и союзников. Это был наш вклад в дело борьбы за справедливость и права человека, которая ведется по сей день.

Мы вносили свой вклад безвозмездно, щедро, но нашу щедрость не оценили и дорого пришлось за нее заплатить. Богатство не принесло пользы кубинскому народу, который, к несчастью, не был воспитан в правилах экономии, бережливости и благоразумия — эти качества, впрочем, вообще не свойственны кубинцам... Все наше сказочное неожиданное богатство, основанное на производстве одного единственного продукта, зависело от экономической и финансовой политики другой страны. На Кубе не было даже должным образом организованного министерства финансов, кубинский банк не отличался ни прочностью, ни самостоятельностью и, скорее, представлял собой нечто вроде филиала иностранного банка и полностью от него зависел. Золотой замок, построенный на сахарном фундаменте, рухнул, растворился, как сахар в воде, породив кризис, едва ли не более тяжелый, чем пережитый Кубой во время знаменитой «пляски миллионов» после первой мировой войны. Но не только кубинцы оказались в проигрыше. Между 1920 и 1921 годами потери иностранных сахарных компаний на Кубе исчислялись несколькими сотнями миллионов долларов; оказалось, что такие недостатки, как беспечность и непредусмотрительность, свойственны не только сынам тропиков...

Л. В. де Абад, *Сахар и сахарный тростник*, Кубинское торговое издательство, Гавана, 1945.



У большого камня покачивается под деревом фонарь и вьются вокруг него ослепленные светом ночные бабочки. Мачетерос играют на камне в домино. У Дарио всего три костяшки, партия близится в концу. Девять и девять. Надо выложить девять и девять, самую большую. У Дарио нет пустышки, он уже пропустил два хода и нервно постукивает пальцами по столу. Фигаро, его партнер, тоже стучит по столу, но с такой силой, что подскакивают выложенные зигзагом костяшки.

— Ты ни черта не соображаешь, куманек! — Фигаро сердито фыркает, за весь вечер Дарио не закрыл ни разу кон.

— Его сглазили, — заявляет Папаша, размышляя, поставить ли еще раз пустышку или новую костяшку. Дарио и сам думает так — конечно, сглазили, Папаша прав... Юноша оглядывается: позади маячит Цветной, с нетерпением ожидая своей очереди. В таинственном свете фонаря огромные уши Цветного похожи на капле-

то фантастические красные веера. Прищуренные хитрые глаза, не отрываясь, смотрят на Дарио. Дарио становится не по себе. Ясно, Цветной хочет его сглазить... Говорят, в таких случаях надо ухватиться за дерево.

— Не твой ход, куманек, не дергайся, сейчас моя очередь, — говорит Фигаро.

— Да я и не собирался... Цветной хочет меня сглазить.

Дарио никогда не верил ни в какие приметы. Но сейчас он уверен, что его заколдовали, сглазили. Сглазить может человек, у которого дурной глаз, это известно. А у Цветного, конечно, дурной глаз. Он хочет, чтоб Дарио скорей проиграл, чтоб самому сесть за стол. Вот две девятки из-за него и не шли в руки. А две шестерки, и пара... Рука у Дарио несчастливая. А ведь выложено уже двадцать восемь костяшек. Домино — спорт обитателей барачков, скучающих бездельников и... махетерос. Для некоторых домино — настоящая страсть. Вот как для Цветного. Он готов на все, лишь бы сыграть партию. Только об этом и думает. Придет с поля, проглотит обед и уже тут как тут, возле камня, можете не сомневаться. Но сегодня Цветному пришлось выйти из-за камня-стола, понадобилось отлучиться. А место и заняли. Пошел к невесте — забудь о месте. Цветной кусает ногти, злится.

— Последний чемпионат по домино разыгрывали в Матансас, я-то его видел, конечно, — начинает Папаша. — Победил один мулат, по прозвищу Лакированный, говорили, что он сапожник. Игрок-то он был чикудышный. Я у этого самого мулата выиграл двадцать четыре партии подряд. В воскресенье вечером как-то уселись мы друг против друга, сначала я играл с моим двоюродным братом Александром, а потом — мы с Лакированным один на один, чтоб лишних разговоров не было. Выигрыш мне, конечно, не засчитали, потому что я негр, сказали, что встреча неофициальная... Этого Лакированного однажды пригласили в Ведадо, к какому-то врачу, говорили, будто этот врач — родственник Алонсо Пухолю, был такой политик. Чтоб Лакированный играл с ним по-тонкому, и...

Продолжая рассказывать, Папаша потихоньку плутует: вместо шесть и шесть незаметно подставляет шесть и семь. Поменял кукушку на ястреба. Ничего,

в игре все годится, лишь бы не заметили. Главное — суметь обмануть партнеров, схитрить. Если надо, чтоб тот, кто играет в паре с Папашей, поставил три, Папаша прикладывает к носу три пальца и громко сморкается. Если нужна пустышка, старик почесывает ухо длинным ногтем мизинца. Всем давно известны Папашины уловки, но старик уверен, что такого великого шулера, как он, не найти в целом свете.

— Так не пойдет, старичок, — говорит Фигаро, отодвигая подложенную Папашей костяшку.

— Ты подумай только, что получилось... Глаза-то меня как подводят. — Папаша щурится, а сам ловко перебирает костяшки, отыскивает нужную.

— Ишь ты черт! Больно уж ты везучий, смотри, проиграешь в конце концов.

И в самом деле — Папаше нечего поставить. Он ищет, ищет... нет!

— Ладно, радуйся. Пас!

У Дарио есть что поставить. Он смотрит на старого негра большими блестящими глазами и думает: Папаша спасовал кстати, теперь-то уж я... Но тут юноше начинает казаться, что Папаша тоже хочет его сглазить. Наконец очередь Дарио. Он вертит в пальцах костяшку девять и девять, жадными, завистливыми глазами следят игроки за его руками. Руки Дарио вспотели. Нет, лучше поставить какую-нибудь из двух других: пять и семь или пять и три. Надо выбирать. Дарио разглядывает костяшки, выложенные на стол, соображает, у кого что осталось, пытается подсчитать, сколько костяшек у каждого в руках... он в нерешительности. Придется рискнуть, испытать судьбу. Дарио колеблется. Рохита не сводит с него глаз, в нетерпении дергает себя за бороду, торопит юношу, подталкивает, стучит костяшками. Вот задача! Дарио прикидывает: что будет, если поставить эту? Или эту? В сущности, неважно, выиграет он или проиграет. Четыре человека сидят вокруг камня под фонарем и просто убивают время, которое тянется так медленно здесь в лагере, когда долгий рабочий день, наконец, окончен. Некоторые рубрики уже улеглись в гамаки, другие пошли в школу смотреть спектакль, а Папаша притащил свое домино, оно у старика всегда с собой, это его единственное развлечение. Дарио должен выиграть у Папашы всухую, во что бы то ни стало. Старик совсем

зазнался: в домино выигрывает, тростник рубит лучше всех. Да и сейчас вот поглядывает искоса и говорит: «Не родился еще такой молодчик, чтоб Папашу обыграл!»

— Когда человек стареет... где уж тут мухлевать. А какие глаза у меня были когда-то!

— Хуже нет слепого, чем тот, кто не хочет видеть. Уж лучше не притворяйся, куманек.

Папаша смеется, довольный. Зубы у него цвета слоновой кости, большие, ровные, прямо реклама дантиста. Папаше приятно — все удивляются его ловкости и силе, понимают, что он только притворяется старичком, Папашей. Дарио наконец решается, ставит пять и три. Цветной позади него нервно хихикает. Конечно, Дарио позорно промахнулся. Сглазили.

— Черт возьми! Вот нынче ночью ты и в самом деле сослепу не туда попал. Верно, старик?

Хохот. Папаша обиделся, надулся, потерял всю свою спокойную уверенность.

— Синьоры, так не поступают, — возмущается старик. — Хотел бы я знать, кто это сделал? Какая сволочь...

— Скорее всего — Флоренсио, — подмигивает Цветной.

Новый взрыв смеха. Дарио закашлялся, согнулся, лег грудью на камень. Поднял руку, хочет что-то сказать. Ничего не слышно. Просто лопнуть можно от смеха! Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Слезы текут по щекам. Дарио задыхается. Ох, не могу больше! Он снова закашлялся, Фигаро, захлебываясь от смеха, колотит его по спине. Цветной трясется от хохота. Рохита падает с ящика, на котором сидел. Громовой хохот. Всеобщее веселье.

— Вы знаете... знаете... что случилось с Папашей?

С Папашей сыграли шутку. Старик спит возле Дарио, их гамаки висят рядом, и у них общая тумбочка для одежды и сапог, которые за ночь отсыревают, становятся холодными. Когда Дарио и Папаша ложатся, столб, на котором висят их гамаки, пронзительно скрипит, кажется, будто гамаки сейчас сорвутся и упадут. Стоит Папаше или Дарио повернуться, как соседи просыпаются и поднимают крик. Ну а уж если тебе надо встать на рассвете, то приходится открывать тумбочку, ощупью натягивать холодные сырые сапоги, выходить

из барака и брести в отхожее место, где зловоние, пауки, скорпионы, крысы и злые вездесущие москиты.

Поэтому Папаша раздобыл большую жестяную банку из-под консервированной колбасы и держит ее под гамаком. Почти каждую ночь он, проснувшись на рассвете, немного нагибается и, не вылезая из гамака, без всяких забот и хлопот спокойненько делает пи-пи, как в детстве, когда мать (родители ее были еще рабами) усаживала его на старый белый эмалированный горшок; потом мать открывала дверь и выплескивала содержимое горшка прямо в поле, а маленький негр-тенок смотрел в загадочную ночную тьму, вспоминая рассказы про буку, про страшных лесных чудищ — они бродят по лесам и пожирают детей, которые не слушают маму, плохо кушают, отталкивают тарелку с иньямом, маниоковой кашей, жареные бананы — все то, что люди должны есть каждый день. Дарио просыпался от покачивания гамака, слушал шуршание тонкой струйки и вспоминал детство: забытый всеми, он иногда долгие часы просиживал в дальнем углу на горшке, погруженный в грезы, певинный и одинокий. И Дарио думал о том, что люди, в сущности, навсегда остаются детьми — как в детстве, тело их остро ощущает холод и жару, голод и жажду; они кашляют по ночам и просыпаются от позывов, помнят прикосновение воды к коже лица, холодных ножниц к шее, когда стригут волосы; как дети, погружены они в ощущения своего хрупкого тела и, как дети, сидя на зловонных тронах, воображают себя владыками; как дети, гоняются за мимолетными радостями, бросаются в безумные авантюры, мечтая о великих свершениях, которые оказываются потом всего лишь кучкой дерьма.

И вот такие же люди, подобные детям, подстроили негру Папаше ужасную гадость. Утащили его большую жестянку из-под консервов и старым гвоздем проткнули четыре или пять дыр, как в дуршлагае, а потом поставили опять под гамак. Человек, который никогда не проигрывает в домино и рубит тростник лучше всех, проснулся в полночь, нагнулся, взял свою жестянку и... желтые фонтаны брызнули во все стороны, теплая жидкость потекла по босым ногам Папаши, по рукам, напрасно пытался он пальцами заткнуть дыры... Все повскакали, зажгли фонари, хохочут, острят, а Па-

папа в расстегнутых штанах, весь мокрый, ругается, элится, поносит на чем свет стоит всех и вся...

— Так не поступают с человеком, черт бы вас взял, — снова и снова повторяет Папаша.

— Верно, куманек, с вами поступили по-свински. Цветной перестал смеяться. Он запекает:

Говорят, задумал Франко  
Королем испанским стать.  
Пусть тогда горшок свой на ночь  
Уж не ставит под кровать.  
Пусть на голову наденет  
Он посудину свою,  
Ведь испанская корона  
Не налезет на свинью.

— Слушай, Цветной, если ты не перестанешь горланить, заработаешь...

— Да ладно, куманек, они же нарочно вас подначивают. Елки-палки, мы просто пошутили, и все тут.

## ОКТАБРЬ, 1962

— Ты думаешь, Дарио, американцы и в самом деле сделают это?

— Трусы они... дураки.

— Сделают. Как в Хиросиме.

— Да ну их!

— Но сначала... вот увидишь, нам достанется. Думаешь, нет?

— Достанется.

Молчание. Октябрьский рассвет. Холодный окуп.

— У меня двое ребятишек, Дарио. Понимаешь?

— Ни черта не видно.

— Педрито, старший, уже ходит в школу.

— Ты ничего не слышал?

Тишина. Плеск волн о скалы.

— Нет... А ты?

— Мне что-то показалось.

— Подумать только! Может быть, через минуту все будет кончено. Весь остров вспыхнет как ракета, и все. А что-нибудь останется?

— Море.

Волны набегают на берег, откатываются.

— Убийцы!

— Мы им покажем!

— Я помню, видел одну картину про атомный взрыв. Мать моя, мамочка! Уж на этот раз янки нас пристукнут, обязательно. Ха-ха-ха! Ты знаешь историю про попугая и про пароход?

— Где спрятался пароход?

— Ну да. А вот здесь нам спрятаться некуда. Сбросят американцы бомбу и сотрут нас с лица земли.

— Ладно. Ну их!

— По правде говоря, мы и в самом деле дохляки. Верно?

— Так ведь надо еще, чтоб янки об этом догадались.

— Однако на Плайя-Хирон мы их в два счета распотрошили.

— То были наемники, кубинцы.

Пауза.

— Я вот за старуху свою беспокоюсь, парень, да за ребятешек. Особенно за Педрито.

Молчание. Курить на посту запрещено. Холодный ветер.

— Все равно! Мы им покажем, сволочам. Всем! Всем, кто полезет к нам. Пусть наш остров потонет, мы не отступим.

Тишина.

— Когда я был маленьким, я ужас как темноты боялся. Что значит детство! Мне казалось, будто покойники в темноте бродят. Забивали нам голову всякой чепухой... Я целые дни читал «Рассказы о ведьмах». Ты не читал, маленькие такие книжечки? И о вампирах тоже, о мертвецах...

— А ты видел картину про этого, ну, как его, который стал волком? Как его звали-то?

— А, да, я знаю про кого ты... этот... ну как его... его звали...

— Вот дьявол, на языке вертится!

— Черт побери, как-то вроде...

— Тш-тш! Слышишь? Шумит что-то.

Тишина. Сердце стучит. В пот бросило.

— Да ну тебя! Ничего нет. Это море.

— Мне показалось... Вон там.

— Было бы видно. Здесь местность открытая.

Тишина и безмолвие. Октябрьское утро.

— Я думаю, никакой высадки американцы не сделают. Просто сбросят на нас бомбу, и к чертям собачьим.

— Если решатся.

— Они решатся. Посмотрел бы ты, что они сделали с Хиросимой и Нагасаки! Им на все плевать, только бы нас прихлопнуть, стереть в порошок, в пыль...

— Если сбросят бомбу, весь остров пойдет ко дну.

— Сбросят.

— Но ведь миллионы людей погибнут!

— А мы для них не люди, Дарио, мы просто губастые негры, и все тут.

— А ракеты? Забыл?

— Правильно! Тогда пустим ракету прямо в самый центр Нью-Йорка, пусть получают сполна.

— Если бомбу сбросят на Старую Гавану...

— Пропали мои ребятишки.

Молчание.

— Но я готов даже на это. Лучше умереть, чем гнуть на них спину.

— Взлетит на воздух Капитолий, кино «Кампо-амор» и то, что напротив, и старый кинотеатр «Ли́ра», и «Прадо», даже мол... Весь квартал. Не будет больше ни улицы Теньенте Рей, ни Муралья, ни Компостела... Уйдут в могилу (в яму, в море, кто знает куда) крестная мать Верена, и Каридад, и ее малыш... Господи, даже представить невозможно!

— Жизнь — сплошная мерзость.

— А мы все тем не менее хотим только одного — жить.

— Зачем? Ты же видишь, в конце концов все равно сдохнешь.

— Лучше умереть так. По крайней мере история нас не забудет.

— Что мне до истории? Я хочу жить, быть живым, живехоньким. Сукины дети эти янки! Хуже всего, что после начинается радиация.

Молчание. Прожекторы шарят по морю.

— Знаешь, Дарио, живешь на свете только раз.

— Это такая песня.

— Да ну тебя, кроме шуток. Живешь на свете только раз, а потом — конец. Мне тридцать лет. Я только разохотился жить-то, и вот... А я не хочу умирать

— Сдрейфл ты.

— Не брешь, сволочь. Если меня прихлопнут — ничего не поделаешь, я не об этом говорю. Я другого боюсь: не смогу жить после взрыва, наслаждаться жизнью. Вот посмотри: этот чертов песок завтра нагреется, как бы шикарно прийти сюда со своей милой и с малышами.

— Правильно ты сказал: жизнь у нас одна. И она одна у миллионов людей, таких же, как мы, они тоже хотят прийти завтра на пляж и зарыться в теплый песочек. Все люди одинаково пмекют право...

— Янки считают, что нет.

Стук автоматов. Окоп глубокий.

— Я впервые был на пляже в Конге. Там брали песо за вход. Я пошел с одной, она в баре работала.

— И что?

— Ничего. Подошел тип в каком-то поясе, спасательном что ли, и спровадил нас. После революции я все время хожу по клубам. Мне это нравится. Ведь раньше-то таких, как я, не пускали, потому что я-то уж такой черный негр, из всех черных черный.

— Я один раз был в Ферретеро.

— А на острове Пинос есть один пляж, так там песок — черный.

— Да.

— Хоть бы бомба туда не попала.

— Хоть бы не попала.

Замолчали. Задумались. Что-то вспоминают.

— Я ушел — даже со старухой своей не простился.

Заморосил дождь.

— Дай-ка плащ, Педро.

— Бери. Может, он тебе уже не понадобится.

— Ну, на всякий случай.

— Сколько времени?

— Без пяти три.

— Ну и брызжет!

— От такого дождика промокнуть не промокнешь и сухим не останешься.

— Ты знаешь историю про попугая?

— Ты ее рассказывал уже три раза.

— Хватит притворяться спокойным! Не могу больше! Хоть бы скорее все кончилось к чертовой матери! Если они собираются сбросить бомбу, пусть бросают!

Чего они ждут? Здесь никто не сдрейфит. Никто не сдрейфит, черт бы вас всех взял!

Луч прожектора шарит по поверхности моря. Прибой. Прохлада.

— Дай сигарету.

— Нельзя курить в карауле.

— Иди ты! Дай сигарету. В конце концов...

— Ладно. Пригнись только.

— Я курящий покойник. Дарио, мне кажется, что все уже кончилось. Я ничего больше не чувствую. Тишина и покой.

— Может, взрыв уже был?

— И все уже разлетелось в куски, а мы здесь разговариваем. И вдруг мы только одни остались в живых?

— Мы бы взрыв слышали.

— А может, он был далеко. В Ориенте. Или в Лас-Вильяс. И радиация, наверно, уже сюда дошла. Вот и дождик идет...

— Так или иначе...

— Погасла. Дай спички.

— Если мы живы, значит, революция не кончилась.

— Хоть мы и не супермены.

— Я не хочу, чтобы вернулся капитализм, Педро.

— Я тоже.

Начинается ливень. Потоки воды изливаются в море.

— Простудимся мы с тобой.

— Хорошо бы стаканчик рому.

— Говорят, взрыв похож на гриб. Поднимается, огромный, и потом опадает.

— Цепная реакция.

— Если бомба попадет на поля, трава больше никогда не вырастет.

— И все вокруг будет отравлено: колодцы, реки, земля, животные...

— Люди.

— Дети.

— Останется от нас только яма посреди моря.

— Пример для потомков.

— Это было бы чудовищным преступлением.

— Янки способны на все.

— Каждый имеет право жить, делать что хочет.

— Право родиться.

Задумались. Молчат. Вспоминают... Холодно.

— Почему-то вспомнил сейчас, была у меня когда-то любовь.

— У меня и сейчас есть.

— Моя умерла от воспаления легких.

— Ну вот.

— Хотела стать учительницей. Умница была! По-знакомился я с ней в школе. Нам было лет по четырнадцать или около того.

— Сейчас она пошла бы на смерть вместе с нами.

— Конечно.

— По-моему, жизнь — штука несложная. Люди умирают и так, и эдак, и ничего особенного в этом нет. И небес тоже никаких нет, и рая. Ни черта, ни дьявола. Просто отдашь концы, и прощай, дорогая. Мне, например, все равно, сбросят ли янки на меня какую-нибудь штуковину или я умру от старости. Ведь, в конце-то концов...

— Ну, я все-таки не хочу умирать.

— Да я тоже не хочу, черт побери! Но я хочу иметь право жить или умирать, как мне нравится, чтоб никто мной не командовал. Понимаешь?

— Может, американцы это понимают?

— Как же, жди! Ничего такого им и в голову не приходит. Они желают командовать всем, завладеть миром... Считают себя выше нас, особенными. Сами будут сколько угодно умирать от рака, от сердца и все равно не поймут, что умирают точно, ну точнехонько так же, как все другие люди, как любой негр, как всякий обыкновенный человек...

— Ты знаешь, я всегда думал: пока есть жизнь, есть надежда. Как бы не так! Никакой надежды! Вот нас сейчас уничтожат, всех нас, всю Кубу, к чертовой матери! Если только русские...

— Конечно. У русских есть ракеты.

— Да. Они их поставили у нас. И дадут янки жару.

— Там увидим.

— И тогда — конец янки, конец империализму, эксплуатации. Может, наша гибель принесет великое благо человечеству.

— Кто знает. Пока что я, Дарио, вот здесь, в этой окаянной дыре, плюю на янки, и на всех остальных,

и на святую деву Марию... Я говорю одно: я не сдам-ся и не продамся.

— Я тоже.

Светаёт. Дождь перестал. Свежий ветерок.

— Что скажут наши дети?

— Зажги и мне сигарету, Педро.

— Если Педрито будет жив...

— Загаси спичку как следует.

— И если ничего не случится...

— Крепкие сигареты.

— Я скажу Педрито, что...

— По-моему, уже пора нас сменять.

— Без четверти пять. Еще час остался.

— У меня ноги застыли.

Отлив. Дождя больше нет, тучи разошлись. Серое небо над головой.

— Спать хочешь?

— Ни чуточки.

— И я не хочу. Будем наблюдать. Вдруг появится их «У-2», мы его собьем. Приплывет судно — потопим.

Я хочу видеть все. Трассирующие пули. Взрывы.

— Огонь. Земля задрожит.

— Черт те что будет!

— Если один из нас останется в живых...

— Никто не останется.

— Ну, если вдруг...

— Они убьют нас всех, до одного.

— Кто-нибудь все-таки останется... Расскажет, как было дело.

— Поддержи-ка автомат. Помочусь.

— Какого черта, Педро, ты мне на ноги льешь, мочись в другую сторону.

— А знаешь анекдот, как один тип входит в уборную...

— Ты вчера вечером рассказывал.

— Надо их пронумеровать. Скажешь — сорок четвертый и все — ха-ха-ха!

— Или — девятый. Опять — ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

— Двадцать пятый! Тоже ха-ха-ха!

— Тише! Услышат, пожалуй.

— Кто?

— Они.

— Янки?

— А что ты думаешь? Может, и услышат. У них всякие есть аппараты.

— Ну, значит, они тебя и сейчас слышат.

— Пусть слышат. Эй, слушайте! Вот мы здесь, Дарио и я, мы плюем на вас с высокого дерева, сукины вы дети!

— Чш-ш, парень. С тобой на рубку тростника попадешь.

— Хорошо. Тогда вот как: слушайте, вы! Произошла ошибка: плюю на вас только я один. Дарио у нас нежный — он на вас пи-пи делает.

Долгое молчание. Дарио мурлычет:

Жизнь — это сон,  
И все в ней ложь,  
Мы родимся, чтоб умереть,  
Зачем же так жадно любви ты ждешь?  
Зачем же страдать и петь?  
И счастья нет,  
Хоть весь мир обойде-е-е-ешь.

— Это Бени поет.

— Вот чудо, так чудо!

— Да, Бени — это чудо музыки.

— Все у него получается, и болеро, и гуарача, и мамбо.

— Я и говорю — чудо.

— А помнишь представление с танцами, как там цели:

Святая Исабель, меня ты погубила,  
Накинула ты петлю на меня.  
Святая Исабель, я встану из могилы,  
И ты сгоришь от моего огня.

— Ты не нажимай голосом-то. Тут надо тихо-нечко...

— А «Страдаю, но прощаю» тоже здорово, да?

— Ее Перес Прадо сочинил.

— Да. Этот совсем другой, чем Бени, с оркестром пел.

— Куда-то он подевался?

— От мамбо все тогда с ума посходили. А я, ты не поверишь, я так и не выучился мамбо танцевать.

— Значит, ты косолапый.

— Еще чего! Я танцую как волчок. Дело в том, что мне не нравится там соло. Как-то связывает.

— А что скажешь о Барбарито Диес?

— А оркестр «XX век»?

- А Арагон?
- Нет, что верно, то верно: мы, кубинцы, созданы для музыки и танца. Если все кончится благополучно...
- Придется это учесть.
- Не будет больше империализма...
- Не будет империализма...
- И цирка тогда больше не будет. Дрессированных зверей, акробатов, канатоходцев, карлиц, фокусников.
- Да ну тебя! Фокусников надо оставить, их ребяташки любят.
- Ладно, будут фокусники. Опустит обе руки в шляпу и вдруг достанет оттуда голубя...
- А то еще: платок сложит, а потом развернет, и получается знамя.
- И столы у них летают.
- Фокусники останутся. Я точно знаю.
- А мы их увидим?
- Нет.
- А Педрито?
- Может быть.
- Педрито и другие, такие, как он, останутся.
- Да, они останутся.
- Останутся, я верю.

Концерт самодеятельности в местной школе. Праздник открывает сеньорита Эмилиана. Она училась в Минас-дель-Фрио. Сеньорита Эмилиана объясняет присутствующим, что такого рода культурные мероприятия стали уже традицией. «Сейчас учащиеся нашей школы продемонстрируют родителям и родным свои успехи, покажут, чему они научились. Первым номером, как обычно, выступит Раулито, он прочтет стихотворение великого кубинского поэта Бонифасио Бирне».

Девятилетний малыш с челкой, падающей на глаза, выходит на середину. Он протягивает руку по направлению к знамени и под хихиканье своих товарищей чуть слышно лепечет:

Если знамя разорвано в клочья  
В беспощадном бою,  
Гневом вспыхнут угасшие очи —  
Мертвецы на защиту встают.

Все хлопают. Певец, как взрослому, жмет Раулиито руку. Дальше — сюрприз. «Сейчас вы увидите нечто совершенно небывалое, ни с чем не сравнимое, единственное в своем роде. Благодаря революции вы имеете возможность насладиться искусством артиста, прославившегося в свое время в Гаване. Выступает Мавр! Человек, изрыгающий огонь». Барабанная дробь (каменем по ящику). Аплодисменты. Матери поднимают детей повыше — это, наверное, тот доброволец с ярким платком на шее. Кто-то из малышей плачет — мне ничего не видно. Кто-то взгромоздился на табурет. Музыкальное вступление — Певец пощипывает струны гитары. И наконец появляется Мавр, низенький, смуглый, с курчавыми черными волосами. Он обходит круг, высоко подпрыгивает... До революции Мавр обходил в сезон рубки плантации, но работы не было, приходилось заниматься чем попало. Ничего не поделаешь, с голоду и огонь начнешь изрыгать! Сначала Мавр изображает забияку-парня, потом — близорукого старикашку, длинноносого (приставляет ладонь к носу, очень похоже получается) пьяницу — бредет, спотыкаясь, нога за ногу. Тут громче всех смеются, разумеется, мужчины. Страшный шум. Мавр стоит на одной ноге, другую поднял высоко вверх — ну точь-в-точь наша Белянка с поднятой лапой. Хохот. Дальше — прыжки, стойка на голове. Это трудно, рубашка сползла, обнажив шоколадный живот. Покачнулся, вскочил. Всем этим штукам Мавр выучился в прежние времена. Приходилось паясничать на голодный желудок. Публика в восторге от артиста. Певец снова стучит по ящику, выбивая барабанную дробь. «Внимание, сейчас вы увидите танец скелетины». Мавр размахивает платком. Ну-ка, вот так, сюда, а теперь — сюда. Он издает носом звук, напоминающий рожок автомобиля. Всеобщее веселье. Мавр вошел в азарт, он артист, он знает, как вызывать смех детей и аплодисменты, снова он молод и весел, звезда бродячего цирка. Надтреснутым голосом Мавр запекает: «Йёмыере кумбá», «Йёмыере кумбá!» И вдруг — напряженная пауза, мертвая тишина. Только Певец выстукивает по ящику. «Смертельный номер!» Нахмуренные детские лица, сжатые ручонки, кто-то грызет палец... «Черт возьми, сейчас мы зажжем сигаретку». Мавр берет черенок от метлы. На конце — кусок пакли, смоченной

в спирту. «Святая дева Макарена!» — шепчет кто-то. Мавр чиркает спичкой. Вместе с пламенем вспыхивает воспоминание: толстый Орасио, хозяин цирка, зажигает трубку с опиумом; он стоит в углу ярко-оранжевого ярмарочного балагана рядом со старым, усталым слоном, прикованным за ногу ржавой цепью. Слон этот звался Юмбо в Кабаигуане, Думбо — в Сиего де Авила, Пепе — в Артемисе и ел больше, чем все артисты, вместе взятые, включая акробатку Фину, которая рылась в карманах Орасио, пока он курил. Тот нарочно для нее клал в карманы два-три реала. Фина ощупывала карманы Орасио, и, убаюканный опиумом, он воображал, что она ласкает его. Фина, акробатка... Волнение в публике. Мавр подносит к лицу горящую паклю, открывает беззубый рот... Еще был в цирке глотатель шпага, в один прекрасный день он умер, неизвестно отчего. Мавр дует керосином на горящую паклю. Вспышка. «Ты горишь, горишь!» — кричат дети. Двойная дробь по ящику. «Он горит, папа!» Крестьяне посмеиваются, несколько встревоженные. Мавр подносит паклю еще ближе. Кажется, будто огонь вырывается у него изо рта. Все хлопают, хлопают, хлопают! Мавр убегает. «Вот дьявол, я наглотался керосина. Не в форме». Овадии. «Бис! Бис!» «Бис? Ни за какие деньги!»

Семеро малышей выстраиваются на сцене по росту, лестничкой. Школьный хор. Шестерых из семерки зовут Мартинес, но они вовсе не братья. Седьмая — девочка с голубыми глазами. Она объявляет номер. Девочка тербит свой халатик — страшно, хочется плакать — кругом так много людей! Мама девочки волнуется еще больше. «Сейчас мы споем «Куба, о, как ты прекрасна, Куба». Раз, два, три... Старший Мартинес опередил других и все испортил. Приходится пачать снова. Улыбки, смех... Начинаем! Учительница Эмилиана дирижирует. Она знает сольфеджио, два года училась играть на фортепиано. Учитель был семидесятилетний старик, очень щепетильный. Началась революция. Фидель мужественно дрался в горах, Эмилиана бросила все и пошла в учительницы. Дети стараются петь согласно. Девочка исполняет соло, остальные подхватывают припев. Теперь Эмилиана — учительница, сама зарабатывает себе на хлеб. Певец окидывает ее взглядом с головы до ног. Эмилиана

краснеет. Публика подпевает. Родители Мартинесов преисполнены гордости. О, юные певуны со сверкающими в улыбке молочными зубами, мечтатели, гоняющие обручи, скачущие верхом на палочках по холмам и по полям! Вы надежда нового мира, мира Марти! Мавр подхватывает девочку на руки, Мартинесы повисают на нем, и все вместе клубком выкатываются со сцены. Антракт. Дети грызут купленные в киоске плантации Морон лепешки с гуаявой, холодные и твердые, как могильная плита. Тут же на месте приготавливают лимонад. Полная луна льет серебряный свет на темные стебли тростника, на дорогу, на школьный двор. Дети бегают по двору, играют. Все едят лепешки, пьют лимонад. Жужжат москиты, бабочки вьются вокруг фонарей.

«Внимание, внимание. Пожалуйста, все сюда!» Певец снова стучит по ящику. «Чш-ш» — прикладывает палец к губам. «Чш-ш-чш» — слышится со всех сторон. Смех, суматоха, мальчишки пищат, передразнивая сеньориту Эмилиану. Старший Мартинес кричит петухом. Кто-то кого-то ущипнул. «Тише, народец!» Мавр опять начинает свои штуки. Изображает потревоженный курятник. Подражает знаменитому волшебнику Мандрэйку. «Ну-ка, где куры-то? Наверное, в рукаве. Неправда, вот они, в ухе. Абракадабра!» Один раз у фокусника в цирке, где работал Мавр, украли голубку. Говорили, будто кто-то из циркачей съел ее. У дверей цирка валялись только перышки. И на старуху бывает проруха. «Теперь подуем, вот так. Абракадабра, у козы подагра! Раз, два! Здесь — ничего. И здесь — тоже ничего». Восторженные вопли: «Волшебник! Чудо!» Угольно-черные глаза Мавра искрятся лукавством. Конечно, он мог бы работать фокусником. Плащ из красного плюша, фрак, цилиндр, белые перчатки... «Вались, тростничок!» Мавр падает на пол как подкошенный. Построить бы здесь великолепный театр с хрустальной люстрой в фойе, с кондиционированным воздухом. Но настоящее чудо — это то, что сейчас происходит на Кубе. Маленький Раулито ковыряет в носу. Огоньки сигарет светлячками вспыхивают среди стволов. И снова аплодисменты. Мавр плавно, по-арабски кланяется. Дети шумят. «Сядьте все! — Эмилиане наконец-то удастся успокоить ребят. — Дети революционеров должны вести себя прилично, Вы согласны?» — «Да, сеньорита». —

«Хорошо. Сейчас мы покажем замечательный номер, вы должны сидеть тихо, чтоб всем было слышно». — «Да, сеньорита». — «Кубинская чечетка! Исполняют Лино и Лусдивина, одиннадцать и двенадцать лет». Он — в гуайабере, она — в длинном белом платье, с розой в черных волосах. Певец подтягивает струны. Начинается танец. Опустив голову, Лино не сводит глаз со своих черных ботинок, поднимающих облака пыли. Не даром он так долго репетировал. А теперь одну ногу вперед... Кружится великолепная юбка Лусдивины. Настоящая маленькая женщина! Гитара поет дикую песню. Аплодисменты. Лино снимает перед девочкой плетеную шляпу. Первая в жизни, великая любовь. О Лусдивина, Лусдивина, я тебя люблю! Гитара стонет, стучит, замедляя ритм танца. Луна серебрит волосы Лусдивины, розу в ее волосах, белое платье. Гитара воркует. Усы у Лино нарисованы углем и бакенбарды тоже. На шее — платок. Славная парочка! «Я назвала дочку Лусдивина \*». Чуть не умерла, когда ее рожала. Она у меня пятая. И чувствую — все равно как молния ударила в голову, ну прямо весть благая, и светится у меня внутри, и кричит. Ну, думаю, девочка, наконец-то девочка родится, надо ее назвать Лусдивина». Аплодисменты. У Лино в руке деревянный мачете. «Привет мачетерос-добровольцам!» Овации. Певец с гитарой выходит вперед.

Светлой родины призыв  
Добровольцы услышали,  
Благороден их порыв,  
Братьями в труде мы стали.  
Мы на деле доказали,  
Что Марти вовеки жив.

Давай, давай! Ну-ка, креольские куплеты! Пой, Певец. Снова танцуют дети. Аккорды гитары. Свежий ветер.

Песня веселая льется,  
Стал я навеки свободным,  
Но не устану бороться  
Вечно, сейчас и сегодня.  
Прочь с дороги, империалисты!  
Жизнь, как река, полноводна.  
С песней за дело берись ты.

---

\* Свет небесный (исп.).

Клятвой святой поклянись ты:  
Вечно, сейчас и сегодня —  
Прочь с дороги, империалисты!

Аплодисменты. Пой, пой, Певец!

Слава бородатым мачетерос, что по своей воле приехали сюда, в Эстрелью, где ни разу не развевалось прежде знамя свободы! Певец бродит по родной земле со своей смуглой гитарой, и песни его наполняют ночь праздничным светом. Звучат стихи, вдохновленные Эмилианой; она хлопочет в стороне, готовит следующий номер и чувствует на себе горящий взгляд Певца. Трепещут струны гитары и льется песня из самой глубины сердца... Потом Певец наскоро сколачивает трио, и вот уже он, весовщик и Томегин поют на три голоса старинную креольскую песню. Певец — воплощение ритма, веселья, танца, он сама музыка, яркое тепло жизни, вечно живой голос народа. Свободно, сами собой рождаются простые, неуклюжие строфы, и беззаботный ветер уносит их вдаль.

Тогда, в октябре, мы все могли умереть, Дарио. Мы даже не знали друг друга. Борьба и надежда объединили нас, всех тех, кто в подвале «Гавана Либре», где кипела в каких-то чанах вода, ночь напролет смазывали старые, никуда не годные маузеры и думали о том, как защитить свою страну этим оружием из Ремарка от атомных бомб. «Хиросима — любовь моя». Мы думали о безоружном народе, противопоставившем свои слабые силы великим державам, с их управляемыми ракетами, дипломатическими посланиями и прямым проводом из Белого дома. В Белом доме решали, что справедливо и что нет, заботясь лишь о сохранении этого шаткого равновесия, пусть малые навеки остаются внизу, а великие — наверху. Мы знали тогда в октябре: нам доступно только одно — бесстрашно, с достоинством умереть, оставив по себе лишь смутные воспоминания о некоем острове посреди океана, об «атлантическом эпизоде» в истории человечества — пример того, как люди из века в век неустанно стремились к счастью, как они хотели, с каждым днем все упорней, удовлетворить свои странные, непонятные американцам претензии — есть, спать, иметь крышу над головой, читать, учиться — и сотни других столь же

низменных желаний, свидетельствующих о нашей животной грубости. О, жалкое самомнение янки! Претендуют на роль хозяев вселенной, а между тем в дикой ярости сами уничтожают себя! Мы думали тогда еще и о бесчисленных мелочах повседневной жизни, ведь мы — обыкновенные люди, познавшие мечту и усталость; мы поднялись с супружеского ложа и, не успев даже проститься, покинули родной дом; мы в последний раз поцеловали сынишку, в последний раз прижали к груди возлюбленную и тайно собрались в парке на углу, где мгновенно возник командный пункт и встревоженный голос сказал: «Настал решающий час, друзья, родина или смерть; надо быть наготове, получите оружие». Оружие! Мечта каждого бойца народной милиции, хотя никто из нас не умел толком владеть оружием, а некоторые даже не видели его никогда, разве что в кино, в картине «Покушение». Мы шагали в ледяном рассвете по пустынным улицам, а люди спали в своих домах, не подозревая об опасности, о которой и мы только что ничего не знали, а кое-кто возвращался домой после веселой ночи. Мы видели опрокинутые мусорные баки — они не нужны больше: скоро мы сами превратимся в мусор. В окнах домов зажигались огни — бойцы, получившие повестки, прощались со своими — передай привет, не забывай... и клятвы в верности, их всегда дают в такие минуты, а потом нарушают, и все-таки они нужны — ты должен умирать не только за то дело, в которое ты поверил, но еще и за свое, личное... Мы видели автобусы, светофоры и время от времени — клочок темного неба над головой. И мы мечтали об оружии, о непобедимом оружии для защиты нашей священной земли. И тут же вспоминали о разных мелочах, потому что мы обыкновенные люди, — о прерванной работе, неоплаченном счете за электричество, за квартиру — все это казалось еще важным, — о том, что надо починить часы, они не заводятся... И вот почему я не знаю точно, когда настал решающий час. Мы спустились в подвал отеля. Ты помнишь, Дарио, все мы, пришедшие в эту ночь в отель «Гавана Либре», знали, что победить нас нельзя и нельзя заставить отступить, потому что мы готовы на все. И мы чистили свое оружие, свои маузеры...

Мы все готовы были умереть тогда, в октябре. Те, что глядели на небо, с минуты на минуту ожидая

взрыва, несущего гибель нам, двадцатилетним. Те, что без усталы плавали на маленьких храбрых суденышках вдоль родных берегов, готовые отразить нападение пятого, шестого или седьмого американских флотов. Те, что целовали крылья «мигов» перед тем, как уйти в последний смертельный полет. Те, что патрулировали улицу Муралья и видели, как соседка из второй квартиры подъехала на какой-то подозрительной машине (оказалось, впрочем, что машина принадлежит ее новому другу, она же приехала домой переодеться, так как тоже была бойцом народной милиции и спешила выполнить свой долг). Те, что пришли на велоринг отца Флоренсио, а потом кипулись в бой, готовые на смерть, если так суждено. Те, что в два часа утра сидели в парке Леонсио Видаль де Санта-Клара против отеля и вспоминали начало: как Че взял город в 1958 году. И мы поняли, что настало время сделать этот шаг — занять место в рядах коммунистов, связать свою судьбу с далеким добрым другом, который всегда был нашим могучим союзником и давал убежище нашим друзьям, врачам и адвокатам, спасавшимся от чудовищной частнособственнической системы. Мы знали: надо решиться на этот шаг, ибо речь идет о том, будет ли существовать вот этот парк, этот город, эта страна и мы сами, готовые отдать за них свою жизнь. В эту ночь мы поняли — можно умереть как герой или как жертва, но нельзя идти на смерть, не сделав выбора.

Мы все могли тогда умереть, Дарио. Те, что сочиняли стихи и писали последние картины в своих кабинетах и мастерских. Огонь и ветер войны разметали бы все, что от нас осталось — белые исписанные страницы и бранные холсты. Те, что слушали казавшееся нереальным пение петуха в тихом, дремлющем городе, ожидая смертоносного воя над этими родными, милыми улицами, что проложили испанцы четыре века назад, над парками Ведадо рядом с автомобильным туннелем, что проходит под Альмендарес, над фонтаном на площади перед Дворцом спорта, над нашим любимым кино «Тропикана», над Парком аттракционов в Мирамаре, над пляжем Санта-Мария. И тогда — конец всему. Прогулкам по городу в вагончиках ИНИТ\*, воскресным визитам к родителям, дружным семейным

---

\* Гаванское туристское агентство.

обедам с пивом и песнями, конец нашим надеждам, желаниям и мечтам, твоей маленькой жизни, которая так или иначе, раньше или позже все равно кончается гробом и ямой на кладбище. Остаются только дети, новое поколение, а его сменяет следующее, а за ним еще одно, и так вечно идут друг за другом внуки, правнуки Пересов, Хуанов и Фернандесов, и любят эти улицы, проложенные испанцами четыре века назад, и любят сборища и праздники, христианские и языческие, и гулянья, и карнавалы, и развлечения — все, что скрашивает существование, облегчает ношу, ответственность за то, что живешь, каждый в свое время, в своей истории, и делаешь то, что надо в каждый данный момент, и зажигаешься великими и малыми мечтами, пустыми, тщетными, преходящими: изменить этот мир, переделать установленный порядок, взорвать общество, где ты бьешься в тоске, в вечном стремлении усовершенствовать эту пи на что не похожую конструкцию, которая зовется «человек»... Станные двуногие существа — мыслители, эгоисты, гордецы, ловкачи, льстецы, искренние, честные, добрые, божьи дети, а иногда — сами боги! Никому еще не было дано описать это оригинальное животное, ибо оно не существует, а постоянно делает, создает, творит, формирует себя в любви, в борьбе и преступлениях против себя самого, в наказаниях, заслуженных и незаслуженных, в жизни и смерти, в неустанной погоне за своей мечтой — непостижимые существа, вечно стремящиеся вперед, ищущие света вне себя.

Ты слушал, как старая Тереза, крестясь, повторяла все те же непужные молитвы, и притворялся спящим и улетал мыслью в звездные пространства, откуда господь бог, по всей вероятности, наблюдал, как мы тут вертимся, воздавал справедливо каждому по грехам его и призывал простить янки — ведь наш островок бесмогущ перед лицом могучего врага. Ты сидел за столом в Министерстве индустрии и силился вникнуть в непонятные расчеты; шел год планирования, ты знал, что в социалистической экономике все должно быть предусмотрено, сбалансировано, взаимоувязано, как тогда выражались. Реальное развитие производства и производственная практика зависят от этих простых, написанных в колонку цифр, которые означают распределение заданий и ресурсов. Как в кладовой. И вот в Ма-

харабомбе должны израсходовать столько-то тонн туалетной бумаги, в Калимете конфискованная у грека Мариуса крошечная мастерская должна произвести столько-то десятков пар туфель, а в Сан-Мигель-де-лос-Баньос заведующий кафетерием обязан планировать посещаемость кафетерия рабочими, которые приходят туда посидеть после трудового дня, оплатив свои счета заранее. Но мы почувствовали в эти октябрьские ночи, как контроль ускользает из наших рук: люди ставили неслыханные рекорды производительности, несмотря на нехватку материалов; казалось, сама смерть подстегивала их, героизм стал повседневным явлением, каждый стремился оставить после себя что-то цельное, законченное — вещь или произведение искусства, которые уцелеют немymi свидетелями трагедии среди изуродованных обгорелых трупов, дымящихся развалин, превращенных в пепел кварталов, среди изъязвленных лиц, в тучах радиоактивной пыли, во всем нескончаемом ужасе второго Нагасаки, который может стать судьбой любого из городов нашей Кубы каждую минуту. Это может случиться, когда ты сидишь за обедом, окруженный домашними, после шестичасового патрулирования и смотришь в окно на дрожащие влажные листья деревьев, сквозь которые улыбается свет твоего последнего дня. Или когда, обливаясь потом, ты выбрасываешь лопатой последнюю горсть земли, ты роешь беспечную траншею на базе Шанахуато и видишь, как на лопате золотится последний солнечный луч; а, может быть, когда, позабыв все земное, ты возносишь хвалы господу богу за то, что он даровал тебе счастье служить ему пред алтарем, облачившись в праздничные, светлые ризы; ты поднимаешь глаза вверх и в последний раз видишь в высоких витражах нашей церкви святого Ангела бледно-голубой плащ Магдалины, зеленоватые отблески на теле распятого Христа и пимб тернового венца, от которого исходит мягкий, всепрощающий свет. А может быть, тогда, когда ты вытягиваешь со дна каменного колодца ведро, полное плещущейся воды, капли скользят, как бусины, скрипит натянутая веревка, ведро покачивается и все кругом искрится в плавном движении. И именно в эту минуту (или в какую-то другую) померкнет свет, потускнеет, исчезнет и мы уйдем навсегда во тьму; мы, привыкшие к сиянию тропического солнца, влюбленные

в тихое мерцание звезд; мы, строящие свои города так, чтобы улицы и площади всегда были залиты светом; мы, любящие яркие отблески на мраморных столбах, камешки, искрящиеся в галстуках и в женских волосах, солнечное поблескивание колокольчика на шее коровы, ярко начищенные ботинки, сверкающие маникюром пальчики милой, серебрянные портсигары, выгнутые ветровые стекла, блестящие антенны — все, все, пронизанное знойным светом тропиков, яркость и блеск цветов и камней, пламенное кипение жизни в воздухе, на море и на земле; мы верим, что мир вокруг нас полон света: тела, одушевленные и неодушевленные, земные и небесные, искрятся своим или отраженным светом, естественным или искусственным; для нас нет на земле ни мертвых точек, ни непостижимых сумерек, ни вечной тьмы; мы умеем видеть сияющую красоту жизни в самых случайных ее поворотах. И ты подумай только, Дарио, — ведь это же бессмыслица! — все мы могли умереть тогда, в октябре.



Дарио закуривает, Папаша, прищурившись, разглядывает свои костяшки. Ветер загасил сигарету, Дарио снова закуривает, наклоняется низко, чуть не пряча голову под стол. Глубоко затягивается, вдыхая ароматный дым, и застывает на миг со спичкой в руке, разглядывая босые грязные ноги Папаши. Старик шевелит пальцами ног — размышляет. Папаша никогда как следует не умывается. Ополоснет лицо и руки под краном, и все тут. За это Мавр прозвал его Чистюлей. Чистюля, как говорит Мавр, — это такой тип, который только вид делает, будто умывается. Есть такие чистюли — протрет утром глаза пальцем и хватит с него. Некоторые моют руки до локтя и выше, шею и под мышками только в нерабочие дни. Зимой чистюли и вовсе быстро справляются: открыл кран, намочил полотенце, протер уши — и вся недолга. А ноги посыпают тальком «Микосилен». Вот и Папаша так делает, а потом сует свои ноги с черными пальцами, поросшими седым волосом, в деревянные сандалии.

Дарио и сам немного отвык здесь от мытья. Вернешься с работы, сойдешь с грузовика и чувствуешь — надо бы вымыться. Но такой ты весь разбитый да голодный... вдобавок вспомнишь, что придется в очереди стоять за ведром, потом греть воду на плите, нести ведро в кабину, завешенную мешковиной, что соорудили возле уборной, поливать себе спину из консервной банки и мылиться, а рядом моются трое или четверо, распевают во все горло, стучат зубами от холода и кричат тебе, чтоб не поскользнулся. «Цепляйся вот тут!» и

«Ну-ка, посмотрим, хватит нам одного ведра?» (это то самое ведро, в котором Арсенио варит обед), а потом выходить босиком и осторожно ступать по камням, чтобы не запачкать снова ноги... Как подумаешь обо всем этом, бросишь под гамак мачете, перчатки, флягу, плетеную шляпу и... сделаешься чистюлей, как Папаша.

На сафре Дарио научился курить. Здесь курили сигары по десять сентаво из тамагиндских табачных листьев. Конечно, Дарио курит не так, как, например, Трапага, который никогда не выпускает сигары изо рта, все равно горит она или нет. И не так как Баракоа — этот постоянно жует табак, ворочает во рту, словно резинку, его и дразнят «жуй, жевало, плюй, плевало». Дарио закуривает, только когда выполнит дневное задание, и доволен собой, доволен, что не сдрейфил, не сбежал; время идет, а он все рубит и рубит тростник и будет рубить до самого конца сафры. Слово древний индеец с трубкой в руке, Дарио вдыхает великолепные благоухания, издаваемые принцессой Табакиной, влюбленной в плебея Кахио. Он закуривает свою сигару и чувствует себя по меньшей мере Родриго де Хересом, человеком, впервые открывшим табак — растение, листья которого горят, испуская клубы ароматного дыма. Дарио поднимает голову и выпускает изо рта плотное облачко — ничуть не хуже настоящей гаваанской, из тех, что курил сэр Уинстон Черчилль. Дым вьется над головами сидящих, застилает лица, и они тонут... тонут в дымке истории, потому что на табачных и кофейных плантациях, на полях сахарного тростника, среди пальм и фруктовых садов люди творят историю. «История свершается в огне борьбы, в огне и дыму»... — думает Дарио. Сигара горит и дымится...

Курение всегда считалось удовольствием. Конечно, Дарио вовсе не прочь был бы посидеть сейчас в шезлонге против Сариты Монтиель и, выпуская изо рта клубы дыма, ощущать во рту приятный вкус сигары. Может быть, на то и дана человеку жизнь, чтоб петь веселые песенки, танцевать да глазеть на быков в загоне. Это много приятней, чем сидеть на ящике из-под трески да любоваться на ноги Папаши, встречаться взглядом с его большими сверкающими глазами и без конца думать о легонькой, гладкой костяшке девять-девять, об этой окаинной девять-девять, которая,

кажется, весит тонны, камнем навалилась на Дарио и никуда ему от нее не деться. Но сигара утешает, успокаивает. И Дарио чувствует себя молодцом, ведь он сам не ожидал, что сможет работать на рубке тростника так хорошо, а это очень важно — ты выдержал испытание, ты заслужил спокойный отдых, и, в сущности, какое значение имеет проклятая костяшка, мы всего лишь проводим время в невинной игре, изобретенной священниками много веков назад; доминус означает «господь наш», и домино — тихая, угодная богу игра. А бедняга Цветной вовсе не колдун, никого он не может сглазить, просто стоит позади да мается в ожидании очереди сесть на ящик.

Дарио стряхивает серый пепел и думает: чувствуют ли другие то же, что он? Знакомо им это состояние глубокого удовлетворения после тяжелого труда? Нет, Папаша, Цветной, Фигаро, Мавр, кажется, ничуть не взволнованы. Для них все гораздо проще — курят, играют, разговаривают, словно сидят у себя дома, в родном городке, а рядом бегают по двору дети да громко перекликаются женщины. Они спокойны, довольны и просто отдыхают. Меньше всего думают они о том, что приносят жертву. Подвиг не тяготит их. А ведь суть не только в том, что трудно целый день напролет размахивать мачете. Нет, трудно смириться, пойти вот так, по своей воле, на малое дело, на грубую работу, лишь бы быть полезным. И не ожидать другой награды, кроме этого чувства глубокого покоя, наполняющего сейчас душу Дарио.

— Ну а как вы думаете, он сдрейфит? — спрашивает Папаша.

— Кто, Фигаро? — весело откликается Цветной.

— Я-то? Да ни за что на свете, меня отсюда не выгонишь, черт побери! Разве что поджечь хвост, как моллюску, чтоб из ракушки вылез...

— Да не о тебе речь, братишка, ты, я знаю, парень крепкий, настоящий. Я про счетоводика. По-моему, он уже сдался и лапки кверху. Я как увижу такого... длинноногий, хлипкий... Все твердит, что он счетовод, да носится со своими хворями. Сдрейфил он! Это говорю я, Папаша, а я не раз видал, как люди с катушек сходят.

На языке Папаши «сходить с катушек» означает одновременно трусить и тосковать по дому. Человек

разлучается с семьей, с женой, с детьми и вот начинает грустить по паралоновому матрасу, ему хочется лечь на брачное ложе, на широкую кровать, купленную в гарнитуре вместе с туалетным столиком и шкафом с раздвижными дверцами, а перед сном закурить сигару и сбрасывать пепел в пепельницу, подаренную на память сослуживцами к Новому году. Между тем человек понимает, что завтра утром кофе в постель не подадут, напротив того — явится Арсенио со своим свистком и будет трясти гамак и кричать: «Вставай! Вставай!» Такое тянется уже много дней, впереди еще много месяцев, вдали от Гаваны, от дома, от всего родного, привычного... Вот тут-то кое-кто сходит с катушек и начинает отыскивать приличный предлог, чтобы удрать, смыться. В то же время признаться, что ты скис, не хочется, стыдно, ведь другие-то держатся и останутся на сафре до конца, даже если грянут на них все громы небесные, вот человек и пытается кое-как сохранять достоинство: вдруг, например, выясняется, что у него ребенок заболел или самому нужна срочная операция, а то еще — мама скончалась, папа, тетя, мало ли кто, у всякого может в один прекрасный день умереть тетя либо дядя. Это — страшная болезнь, когда человек сходит с катушек. С ней трудней справиться, чем с самой что ни на есть тяжелой работой на плантациях. Начинается такая болезнь исподволь, развивается постепенно, человек становится вялым, слабым, подозрительным, часто раздражается. Потом ему приходит в голову, что хватит, дескать, он уже достаточно потрудился, вот некоторые сидят спокойненько у себя дома и палец о палец не ударят, а мы здесь гнем спину да лапу сосем; вдобавок жена одна осталась и, уж конечно, найдет себе какого-нибудь типа, воспользуется случаем, как говорится — с глаз дочей, из сердца вон; остались в городе и такие, что воображают себя незаменимыми, а сами нажимают на все кнопки, чтоб их не мобилизовали; сидят там, прохлаждаются да рассуждают об этике, эстетике и кибернетике, о борзых да спаниелях или о том, сколько ангелов умещается на кончике иглы. И не замечает человек, что сам-то он чересчур уж себя жалеет, преувеличивает трудности, раскис — словом, сошел с катушек.

И вот, говорят, Пако тоже сошел с катушек. Таких тут немало, многие не выдерживают жары, тяжелой

работы, недоедания и сдаются. В один прекрасный день они поворачивают оглобли — начинают под градусом остро и насмешек увязывать свои вещички. Посло всего, что Дарио пережил в этот день, он понял — Папаша прав, счетоводик, как его прозвали, и в самом деле скоро сбежит. Хватает же совести рассуждать, какая революция хорошая, да какой империализм плохой, да объективные условия и всякое такое... Выучился в школе политического образования, а как дошло до дела — все забыл; стукнул три раза мачете, волдыри у него вздулись на ладони, вот тебе и объективные условия! И так эти объективные в силу вошли, что совсем забили все субъективные, затоптали их начисто.

— Сдрейфил счетоводик! Пять и один, вот я и открыл кон, — говорит Фигаро.

— Как есть сдрейфил! — подтверждает Папаша. — А я пустышку поставлю! Не больно ты проворен, братишка, вон восьмерка-то на столе.

— У тебя, Папаша, родственники в деревне есть? Ну так ты отпиши им: дескать, Фигаро меня обыграл.

Цветной стоит под фонарем и, потеряв всякую надежду вступить в игру, прикрывает свои хитрые глазки...

И вот Дарио оказался свидетелем небывалого потопы. Он обрушился на побережье Карибского моря, на Антильские острова и на наш остров, который стал центром циклона. Ураган пролетел над Кубой, и в один миг разрушил, стер с лица земли все, что было на его пути. Целые деревни исчезли под водой, сотни людей погибли. Такого наводнения еще не бывало, потому что дожди у нас идут обычно в мае, июне, июле и августе, в жаркие дни, когда земля нагрета сильнее, гораздо сильнее, чем вода в море. Приближение зимы сопровождается холодными северными ветрами, несущими массы сухого холодного воздуха с континента, они сталкиваются с потоками теплого, влажного воздуха с экватора, и тогда выпадают дожди, орошая иссохшую, жаждущую землю, а по склонам Сьерра-Маэстры, Эскамбрая и Кордильер де Лос-Органос стекают десятки и сотни бурных ручьев и рек. Циклон поднимает влажный воздух, охлаждает его и наконец извергает

безжалостные потоки на горы и долины, на рыжую и черную землю, затопляя пляжи, образуя болота, грязные озера с коварными водоворотами, с тучами москитов над ними, полные лягушек и ящериц, которые рождаются и умирают тут же, в этом дьявольском вихре. Ураган — «хуракан» на языке индейцев — тайфун, пронесшийся над морями Китая и Вест-Индии, вырвавшийся из недр земли водяной смерч, феномен, рожденный ветрами, водами, громом и молнией. словно разъяренная ведьма поднялась из земных недр, мечется, обезумев, среди островов, валит пальмы, срывает крыши, сметает изгороди, сараи, животных и людей. А из моря встает владычица вод, повелительница рыб. Она обрушивает на острова ливни и штормы, она хочет смыть их, взяв себе, всесильная хозяйка подводного царства, свирепая мать земли; она является в сентябре или в октябре, всегда неожиданно, и требует жертв. За ней прилетает царица ветров, южных, северных и западных. С диким воем протягивают ветры руки к трепещущим горам и долинам, водят бешеные хоромы в тростниках, тучами взметают песок и, выбрав жертву, кружат над ней в слепой злобе, пока не оторвут от земли и не швырнут в океан; ветры срывают мосты, опрокидывают поезда, кромсают корчащуюся от боли землю. Царица ветров прилетает всегда внезапно в эти благословенные широты с теплым тропическим климатом, с джунглями, где нет ни тигров, ни ядовитых змей, где, кажется, все создано для того, чтоб наслаждаться солнцем и счастьем среди вечно цветущей природы, срывать с деревьев бананы и ананасы, вдыхать чистый, прозрачный воздух. Но царица ветров не знает жалости, она беспощадно терзает остров — этот клочок земли, вытянутый, похожий на дремлющего крокодила. Ветры коварны и жестоки: сначала появляются на небе тонкие перистые облака, такие кроткие на вид, гонимые легким обманчивым бризом; царица ветров тайно готовит свое войско к бою, незаметно собирает тучи, ветер все крепчает и наконец обрушивается на остров злобными порывами и потоками дождя. Потом враг словно отступает. Воцаряется тишина, и в этой тишине снова приближается смерч — холодным взглядом глядит царица ветров на опустошенную землю, любителю делами рук своих и опять посылает ураганные ветры, но теперь уже в противоположную сторону.

И снова яростные ливни затопляют остров и исчезают потом в беспредельных просторах океана, будто скрываясь от кары за содеянное. Не раз и не два разоряла царица ветров нашу несчастную землю: это было и в прошлом веке, и в тысяча девятьсот двадцать шестом году, и в сорок четвертом; чуть ли не каждый год море смывало и заливало паши жилища, и снова и снова жители острова — негры, мулаты и белые — строили дома, возводили города, бросали вызов царице ветров.

Вот и Дарио стал свидетелем опустошительного шествия циклона «Флора». Свидетелем величайшей катастрофы, походившей на день Страшного суда, как его предсказывают адвентисты, только гораздо более страшный и мучительный, потому что все это было на самом деле, здесь, рядом. Дарио видел своими глазами. Раньше, до октября шестьдесят третьего года, он не бывал в Байамо, Сьюдад Монументо. Теперь жизнь здесь измерялась промежутками времени между двумя очередными метеосводками. Пришлось организовывать эвакуацию — вода поднималась неудержимо, дожди шли по всей провинции шесть дней и ночей подряд. В первые же три дня вода поднялась на семьсот шестьдесят восемь миллиметров, т. е. больше, чем на тридцать дюймов, затопила улицы, тротуары, ворвалась в полуразрушенные дома, она поднималась все выше, смывая стены, унося крыши, столы, шкафы. Бригады спасателей отправились в Кауто Кристо, Кауто Эмбаркадеро, Гуамо и далекий Ольгин. В первое время с ними не было даже связи, но они шли бесстрашно навстречу неизвестной судьбе.

Дарио смотрел, как взлетали вертолеты, смело бросааясь навстречу ветрам. Видимость — не более пятидесяти метров, и все-таки летчики спасали жителей долины, которая превратилась в бушующее море. Дарио тоже участвовал в спасательных работах. Сам не зная как, он очутился на военном катере. Катер пересек невидимую под водой дорогу и бороздил безжизненное водное пространство среди вырванных с корнем деревьев, перевернутых автомашин, телеграфных столбов, шкафов, каких-то странных туюков и предметов. По поверхности грязной бурлящей воды, распространяя зловоние, плыли почерневшие цветы, раздутые трупы людей, животных, птиц. Казалось, погибло все. Все, что жило и

дышало, что веками создавалось руками человека, было смыто, сметено. Ни многочисленные враги и завоеватели, ни колонизаторы и захватчики не могли уничтожить Кубу. Теперь на нас надвигалась слепая, безжалостная стихия, против которой бессильна человеческая мудрость. Дарио видел, как исчезали последние следы жизни, тонул жалкий скарб бедняков — увязанные в простыни рубашки, шляпы, брошенное на произвол судьбы имущество семей, бежавших ночью из своих домов, в которые ворвались волны. Вода застигла людей врасплох, ничего подобного никогда еще не бывало, никто не мог ожидать, что море, бушующее где-то далеко, за горами, вдруг ринется на них. Дарио стал свидетелем величайшей трагедии: человеческого разум бился один на один со стихией, пытался побороть хаос, а море смывало хрупкие жилища людей, и Дарио ощущал всю беспомощность человека перед темными силами природы. Какими ничтожными казались теперь все людские распри! И лишь один грозный вопрос вставал перед ним. Как возникает ураган? Как с ним бороться? Откуда берутся ветры, своевольно обвевающие нашу планету? В чем тайна землетрясений и других стихийных бедствий? Как разгадать загадки земли, уловить закономерности в жизни и смерти растений, животных, самого человека? Как победить стихийные силы, неподвластные никаким законам? По их прихоти исчезают плодородные долины, где трудились многие поколения людей, возникают, словно из-под земли, полноводные реки, происходят губительные наводнения, меняются вековые границы районов и, кажется, целая провинция может вдруг согнуться с лица земли.

И все-таки самым главным для Дарио было осознание того, что существует неодолимая, почти сверхъестественная сила, способная сокрушать все, — сила человеческого единства. Какой-то несчастный привязал себя к стволу дерева и целую неделю бороздил воды, питаясь останками погибших животных; может быть, он сойдет с ума или, потрясенный, всю жизнь будет видеть во тьме бессонных ночей страшные картины бедствия, перед которым он ощутил все свое бессилие. Катер подобрал женщину с ребенком; остальные ее дети на ее глазах, один за другим, ослабев от голода, холода и страха, падали в воду с крыши хижины, на

которую они все забрались. Женщина ни за что не хотела сесть, она не верила в спасение, в ужасе глядела на воду. Дарио видел старика — он сидел на дереве — кто знает, сколько времени. Старик не согласился спуститься на катер — зачем? У него не осталось ничего — ни семьи, ни дома, ни желания жить... Тут же, на их глазах, он бросился вниз и ненасытные воды проглотили его; спасти старика было невозможно. Но это лишь единичные случаи, они остались в памяти юноши печальными свидетельствами могущества неукротимой стихии. Зато Дарио видел и другое: человек без усталости, раз за разом, бросался в воду, спас десятых и наконец погиб в волнах; запомнил он и Начо, крестьянина, тот все пытался поговорить с Юрием, молодым советским шофером; Начо рассказывал, как, уцепившись за что-нибудь на берегу, протягивал руку людям, которых проносило мимо потоком, и помогал им выбраться на плот — сорванную крышу какого-то дома. Много, очень много людей, никому неизвестных, совершали чудеса героизма, спасали и выручали друг друга. Эти люди поняли сами и доказали на деле: миру нужны не добродетельные спасители, не сентиментальные великомученики, не велеречивые защитники; просто все дело в том, что человек человеку не враг, а товарищ, что личность живет в коллективе и для коллектива. Когда это поймут все, мы победим и огонь и воду, проникнем в глубины материи и познаем тайны природы.

Дарио учился думать более глубоко. Борьба со слепой стихией помогла ему найти ответ на вопрос, возникший у него и раньше при чтении книг, да и в жизни на каждом шагу: чем жить, когда революция победит, будет построен коммунизм или какая-то другая, еще более совершенная, система, когда классовая борьба, социальные конфликты, человеческий эгоизм — все это отойдет в прошлое? Прокатившийся над его родиной смерч словно вырвал с корнем из души Дарио недоверие к жизни. Оно рождалось прежде от постоянных столкновений с насилием и смертью, от размышлений о тщете всего земного, от жгучей потребности найти что-то большее, чем решения, предлагавшиеся в учебниках, или, может быть, — от вечного поединка с неизвестным. Отныне, подводя последний итог случившемуся, Дарио мог сказать: революция сильнее сти-

хий. Он проверил это на своем личном опыте, он знал теперь, что любовь к жизни, к революции — не только решимость устроить общество определенным образом, не только теоретические взгляды, вынесенные из книг, из трех томов «Капитала», не только восторженное приятие новых граней революционной мысли, открытых, как считал Дарио, кубинцами, а все это вместе взятое, ставшее в своем единстве твоим существом, твоим поведением, твоим отношением к людям и вещам. Жизнь, понял Дарио, есть творящее начало мира и потому она бесконечно сильнее смерти.

Как сенатор Республики, как министр сельского хозяйства и председатель либеральной партии, а еще в большей степени как кубинец, вышедший из самой гущи народа, я очень хорошо знаю и всесторонне изучил страшную трагедию нашего крестьянства. В течение многих лет я без устали боролся против несправедливости общества, в котором тот, кто возделывает землю, поливает ее своим потом, живет как отверженный. В настоящее время я, как член правительства и министр сельского хозяйства, с удовлетворением пишу эти строки, и да послужат они не столько предисловием, сколько горячим одобрением указа президента Карлоса Прио Сокарраса, ибо этот указ открывает широкую дорогу аграрной реформе — самому благородному и многообещающему из наших начинаний.

Пусть ворчат слабые духом, пусть записные критики негодуют и поднимают крик. Наше правительство высоко держит великое знамя аграрной реформы, оно понесет его от хижины к хижине и от победы к победе. Тысячи кубинских крестьян будут радостно приветствовать это знамя, как приветствуем его мы все, ибо оно символ свободы и справедливости. Наконец-то кубинский крестьянин получит землю в свою собственность, наконец-то свершатся самые сокровенные его чаяния и надежды.

Д-р Эдуардо Суарес Ривас, министр сельского хозяйства. Гавана, 1 сентября 1951 года.

Дарио потерял всякую надежду на выигрыш. Больше ничего не выжмешь, как ни вертись. Сейчас кон закроют и — конец. Вдруг настойчивый гудок, глухой, продолжительный, послышался со стороны насыпи. Что-то случилось. Костяшки брошены, все повскакали с мест. Люди выбегают из барака. Цветной выскочил из уборной, на бегу подвязывая веревкой штаны. Астматик тоже бежит, обмотал шею полотенцем, можно подумать, что на нем боа из чистого горностая. Машина, визжа тормозами, останавливается возле них. Тропелахе заглушил мотор, выскочил из кабины, взволнованный, бледный. Арсению, открыв дверцу, высовывается из машины, свистит в свой свисток. Тропелахе обливается потом. Снимает большие черепаховые очки, вытирает лицо грязным платком. Говорит запинаясь:

— Вот что, сеньоры, уж когда везет... скажи лучше ты, Арсению, ты же ее погрузил-то...

— Внимание! Внимание! Тут дело такое, всех касается, так что слушайте во все уши...

Арсению делает паузу. Тропелахе, пользуясь моментом, громко сморкается и старательно складывает платок вчетверо — еще пригодится, осталось сухое местечко.

— Ну так вот в чем дело: мы с Тропелахе поехали в Пину, может, думаем, договоримся как-нибудь с тамошними и выделят нам немного рису для ребят...

— Ты про поезд расскажи, Арсению, — прерывает Тропелахе.

— Я и рассказываю, ты не суйся. Я уже вам говорил, что Тропелахе утром просил насчет риса этого,

из профсоюза, а он отвечает: нету, норма, дескать, и все такое прочее. Ну, эти товарищи, они всегда так, а потом явится да начнет звонить про соревнование да про...

— Ты про поезд расскажи, Арсению...

— Не перебивай, говорю, а то они сейчас скажут — вот, мол, катается на грузовике, а тростник не рубит...

— Правильно! Поруби-ка поди, имей совесть! — кричат несколько голосов, то ли в шутку, то ли всерьез.

Мачетерос кажется, что стоять целый день у котлов — работа нетрудная. Сиди себе в теньке да чисти овощи. Кроме того, Арсению то и дело ездит в деревню на «форде» модели пятидесятого года — на этом «форде» возят тростник, ездят за продуктами, доставляют добровольцев на поле и привозят обратно. А иногда Арсению с важным видом отправляется на нем «договариваться». Он всячески старается показать, что эти таинственные переговоры — дело нешуточное. «Все вы должны быть очень — вы слышите? Очень даже! — благодарны Арсению», — частенько твердит повар. Несмотря на все это, рубщики считают, что работу Арсению даже и сравнить нельзя с рубкой — постой-ка восемь-девять часов под солнцем; поломай спину да попотей; нарубишь три или четыре тонги, кажется — всех обогнал, а потом смотришь — комбайн, как голодный краб, в одну минуту все сгреб. Взвесят, и получается, в среднем на всех нарублено не больше ста арроб. «А ведь мы работаем и за Тропелахе, и за Арсению, и за Чину — они остаются готовить еду».

— Молчать! Кто хочет, чтоб я с ним вместе пошел рубить тростник, пусть скажет...

— Ну вас, надоели! Ведь серьезное дело, сеньоры. Скажи про поезд, Арсе...

— Ладно. Слушайте: едем мы, значит, заворачиваем в узкий проулок, подъезжаем к линии — поезд. Ну, остановились, как положено. Слышу — трещит что-то. Я и говорю Тропелахе: сойди-ка, глянь, может прокол получился...

— Тут я схожу и слышу — мычит, гляжу — корова пестрая орет вовсю, а телка валяется около линии...

— Поезд ее зарезал, сеньоры! Я и говорю Тропелахе: слушай, теперь мы спасены. Подбегаем, поднимаем телку и грузим в машину, вон она сзади. И вот мы тут. И завтра у нас будет такое жаркое — ахнешь.

— Ну а чья телка-то? — спросил Дарио.

— А кому нужна дохлая скотина, парень?  
— Имеем полное право съесть ее. Да и вообще...  
— Эту скотину мы съедим, не будь я Арсенио Гонсалес Маркино, сын испанки Марии из Галисии.  
— В котел ее, в котел! Какого черта? Мы не воры, она бы там все равно сгнила! — в восторге кричит Папаша.

— Ну тогда, сеньоры, прошу! Найдутся желающие освежевать эту тварь?

— Я согласен, кто режет да делит, себя не обделит.

— И я тоже, Арсенио.

— Я дойду в Гранху. Надо сообщить, а то потом скажут, что мы воспользовались случаем и...

— В Гранху! Да скажи же ему, Арсе... — Тропелахе снова сморкается.

— Вы опоздали, маркиз. Я и вот он, Тропелахе, уже говорили с Торресом, с тем, что объезжает плантации на лошади. Ну и он разрешил, сказал, чтоб мы ее взяли.

— В котел! В котел ее!

Четверо мачетерос поднимают телку, целехонькую, если не считать раны на боку, и тащат ее на кухню; затапливают плиту, ставят греть ведра с водой, готовят большие ножи специально для свежевания туш, ножи заржавели — давно лежали без дела; несколько человек берут топоры и отправляются колоть дрова, они выбирают самые толстые поленья — не мужчины мы, что ли! У Дарио нет выхода; их не уговоришь. Засмеявшись, Дарио круто поворачивается, возвращается под фонарь. Собирает разбросанные костяшки. Вот она — девять-девять, которая так подвела Дарио. А вот — девять-пять, Папаша собирался ее поставить, и тогда Дарио проиграл бы, черт побери. Напрасно выкладывали они весь этот длинный ряд — никто в конце концов не выиграл и никто не проиграл.

Из кухни доносятся распоряжения Арсенио: «Давай, руби здесь, сильнее, режь ее, не жалей!» Кто-то дает советы, кто-то соображает вслух: «Надо побольше хлеба оставить. Шкура-то тоже пригодится». Слышится дружное «Раз-два — взяли! Еще — взяли!» Точат ножи. Ножи — собственность Арсенио, личная, частная собственность. Это он разъясняет ежедневно всем и каждому. Арсенио работает на бойне в Гаване с четырнадцати лет. Он знает все, что только можно знать про несчастных коров, которых приводят на убой. Если корова

машет хвостом и печально мычит — возни с ней будет немного; если трясет головой — надо стукнуть пару раз дубиной; если же попадется тихая-тихая — берегись! Ну а эта-то, конечно, хороша, просто с неба свалилась. Вот так телочка! Красотка! Только надо уметь как следует разделать ее. Кто не умеет, искромсает без толку, и все. «Будут у нас отбивные, и фарш, и суп, и бульон — сил наберемся недели на три, начнешь рубить тростник так, что любо! Но конечно, сегодня уже не успеем, надо сначала все подготовить. Вот завтра...»

Пришлось подчиниться, отложить пир до завтра. Тропелахе все-таки незаметно отрезал мягкий кусочек, завернул в бумагу фунтиком и спрятал в уголок. Дождавшись двенадцати, когда добровольцы-мясники захрапели, Тропелахе поднялся, тихонько пробрался к гамаку Арсенио и стал трясти его.

— Арсе, а Арсе! — шептал он. — Пойдем на кухню, я там отложил немного мяса, такой хороший кусочек.

— Я из-за какой-нибудь требухи вставать не буду. Точно говоришь, что хороший?

— Клянусь. Сам отрезал. В конце концов, разве мы с тобой не заслужили больше других? А, Арсе?

Арсенио ворча натягивает сапоги. У Тропелахе разгорелся аппетит, он горячо убеждает повара: «Хороший бифштекс сейчас совсем не повредит. Никто не узнает, там же много, всем хватит». Оба пробираются в темноте на кухню, осторожно зажигают копилку, разыскивают лук, масло, соль, ломтик лимона, раздувают угли в плите.

— Дай-ка сюда вон ту сковородку... Я-то вообще больше люблю жаркое из почек.

— Я, конечно, не очень-то разбираюсь в мясе. Наверно, это филейный край, кусочек-то мягкий-мягкий...

Арсенио освещает сверток. Тропелахе поспешно его разворачивает. Глядит удивленно. Что же это за часть такая? Повар наклоняется над свертком и разражается громким хохотом. «Идите все сюда, а то Тропелахе один съест его!» — кричит Арсенио. Тропелахе поправляет очки, громко сморкается.

— Черт возьми, Арсенио, да скажи же, что это такое? — спрашивает он в педоумении.

— Хвост! Ты будешь есть бифштекс из хвоста, зараза!

Сбежались мачетерос, хохочут. Тропелахе хватает хвост и, размахнувшись, забрасывает его подальше. Мачетерос громко выкрикивают на все лады: «Тропелахе, скушай хвостик! Тропелахе, скушай хвостик! Тропелахе — скушайхвостик! Тропелахе — скушайхвостик!» Арсенио, улыбаясь, достает свисток. Нескончаемый, безжалостный свист несется над лагерем мачетерос-добровольцев.

В последнюю зиму Дарио наконец стало ясно: накормить голодного, напоить жаждущего, сделать так, чтоб не было больше бедных, — это еще не самое главное. Жизнь неудержимо шла вперед, и постепенно начинало казаться, что благородные гражданские порывы мало изменяют жизнь. Ему надоело вышагивать по городу из конца в конец, размахивать флагами да расклеивать лозунги на стенах домов. Он замечал, как к новым революционным понятиям примешиваются давно устаревшие. Волны смятения затопляли душу Дарио. Он огорчался, страдал и по серьезным поводам, и по пустякам. Соседи по-прежнему сплетничали, во дворах по-прежнему стояли зловонные помойки. Дарио все так же ссорился с Марией, ощущал глубокую усталость и недовольство собой, его мучили сомнения. Может быть, события лишь взволновали поверхность и не проникли в глубину? Жизнь неизмеримо шире, могут ли поколебать ее основы грандиозные шествия, митинги со знаменами, гимнами, овациями и всеобщим воодушевлением? Время неумолимо движется вперед, с каждым днем уходят, тают силы, растет усталость, незаметная ржавчина разъедает энтузиазм. Такие, как Дарио, попали в самую гущу общественных потрясений, им казалось сначала, что создание новых учреждений, организация боевых отрядов добровольной милиции, схватка с врагами — все это и есть революция. И вот теперь Дарио увидел — в глубинах человеческих душ, в самой их сердцевине, продолжала жить, несмотря ни на что, складывавшаяся веками застывшая мораль старого мира. Люди не изменили своих представлений о добре и зле. Повседневное мелкое предательство, лицемерие, интриги, вражда царили в учреждениях под прикрытием священного знамени

революции. Бюрократизм разрастался незаметно, заполнял все, как опухоль. Дело возрождения родины подменяли целыми ворохами предписаний и правил. Бюрократы ловко пробирались на ответственные посты и, сидя в своих просторных кабинетах с портретами Маркса и Ленина, создавали культ отчужденной власти. В этих кабинетах с кондиционированным воздухом остывали горячие головы, руководители окончательно теряли связь с жизнью. Они уверовали в значимость и неизбежность своих постов, в свое исключительное право управлять жизнью народа, принимали как должное подхалимство подчиненных, гордились приглашениями в посольства и сами устраивали пышные приемы. Напуганные революционной бурей, бюрократы жаждали регламентации, порядка, успокоения, стремились ввести в привычное русло бурный поток событий. Вспоминали о законах, созданных в те времена, когда Куба была колонией, о реформах правительства мистера Мэгун<sup>\*</sup>, питировали дряхлую конституцию сорокового года. Все это смешивалось с разговорами об аграрной реформе. Предотвратить ее они были уже не в силах. Эти люди, привыкшие цепляться за колесницу победителя, твердили, что революция уже окончена, закреплена в целой серии принятых мер и постановлений. И апофеозом революции они объявили свой собственный консерватизм, свои устарелые понятия, кое-как переброшенные на более или менее современный лад.

Но Дарио и другие такие, как он, много пережили и узнали за это время. Они не думали о себе, о своей роли. Просто их новый жизненный опыт не укладывался в рассказы из календарей, в прочувствованные воспоминания да разговоры о том, кто ранен в руку, а кто — в ногу, или в списки героев — участников того или иного сражения. Они стали другими в огне революции, навсегда избавились от старых взглядов и предрассудков, мещанских вкусов, которые в них воспитали. Но люди вокруг не изменились. Соседи Дарио без конца уверяли, будто стоят на страже революции

---

<sup>\*</sup> Мэгун, Чарльз А. — временный губернатор Кубы с 1906 по 1909 г., всеми мерами содействовавший экономическому и политическому закабалению Кубы Соединенными Штатами, а также усилению влияния католической церкви.

от ее врагов, а сами только тем и занимались, что подсчитывали любовников какой-нибудь женщины да возмущались ее поведением — как же, ведь она посмела нарушить правила старой морали! «А вот Хуанита (или Эсперансеха, или еще кто-то), пользуясь свободой, которую революция принесла женщинам, выходит на улицу одна — вы только подумайте! Может ли такая девушка считаться порядочной?!» Мулатка Каридад с широкими бедрами и черными глазами получила теперь работу. Она устала притворяться в течение стольких лет, покинула наконец китайца Ли и нашла другого возлюбленного — соседи осуждали и ее. Учительница Кармен влюбилась как девчонка, покончила с ханжеством, стала живой, энергичной, молодой — просто позор! «Не говоря уж о том, что она старая, но как она могла, с ее воспитанием...» Эти люди не понимали, что изменение структуры общества меняет строй души, и человек стремится сбросить с себя давящие путы старых установлений.

Дарио и его товарищи смотрели на мир по-другому. Они избавились и от религиозных предрассудков, не верили больше ни в рай, ни в вечную жизнь, ни в бессмертие души, навсегда распрощались с наивными представлениями о месте человека во вселенной. Но в их семьях все оставалось по-старому. Дарио, например, пришлось выдержать целую битву с тещей да и с другими родственниками — они считали совершенно необходимым окрестить первенца Дарио. «Ну что тут такого, — говорили родные, — пусть капнут малышу на головку святой водой в память о неисчерпаемых водах Иордана, омывших первородный грех». «Да неужто расти ему некрещеным, бедному ангелочку», — твердила теща. И в конце концов начинало казаться — и в самом деле, почему не уважить старушку, какой тут вред... Приходилось тайно бороться и с самим собой — ты не будешь бояться пройти под лестницей, смотреться в разбитое зеркало, ты должен отбросить все табу, все предрассудки. Ведь ты знаешь, что только сам человек — творец своей жизни, которая, как ни грустно, кончается могилой; а тогда не будет больше ничего — ни тебя, ни твоего тела, ни твоих надежд и мечтаний; останется лишь воспоминание, да и оно постепенно сотрется, угаснет, ненужное потомкам.

И в то же время Дарио и его товарищи, такие же юноши, как он, стали свидетелями глубочайших внутренних изменений, которые захватывали всего человека, его душевный мир, его личность. Это волновало, тревожило: на их глазах люди преступали общепринятые нормы, нарушали традицию, вырывали с корнем все прочно установившееся, освященное многими поколениями. И не всегда легко было понять, что именно должно погибнуть, исчезнуть в этом хаосе, а что следует сохранить. Трудно найти грань между общим и личным, между мещанскими пересудами и общественным порицанием, отделить прошлое от будущего. Чувствуя смерть рядом с собой, человек судит безжалостно себя и других. Ты участвуешь в разрушении статуи Республики, памятников Нарсисо Лопеса\*, дона Томаса\*\*, обелиска с американским орлом в Гаване, но тебе не так-то легко бороться с утверждениями об отсутствии творческой способности у нашего народа. Ты объявил войну политиканству, любым отклонениям от марксизма, ты борешься с нападками на коммунистов, с разговорами о «железном занавесе», но ты не всегда в силах победить привычку лгать и лицемерить, издавна воспитывавшуюся в людях. Ты стремишься уничтожить пороки общества, бороться с бедностью, осуществлять социальную справедливость, но самое трудное — укрепить в окружающих и в себе понятия добра и чести. Ты решился испытать себя угрозой атомного взрыва, но ты должен быть также готов взорвать все старые взгляды и обычаи, самый строй своей прежней жизни. Дарио не мог больше жить как все, ничем не выделяясь из толпы так называемых активистов из передовых. Он рвался в будущее, туманное, но непременно счастливое. Не для него это существование! Неужто стоит жить только для того, чтобы есть два или три раза в день, чистить зубы новой пастой «Перла», умываться мылом «Накар» да изредка страдать от головной боли или от радикулита! Читать спокойно в газетах о положении во Вьетнаме, о пар-

---

\* Лопес, Нарсисо — испанский генерал, бежавший в Соединенные Штаты. В 1850 г. предпринял экспедицию на Кубу с участием волонтеров-американцев с целью отделения Кубы от Испании и присоединения к США.

\*\* Томас, Эстрада П. — с 1902 по 1906 г. — первый президент Кубинской Республики, ставленник США,

тизанских боях в Африке и Латинской Америке, следить за событиями со стороны, а самому сидеть на теплом местечке и знать, что никто тебя не тронет, не покусится на твои права... К тому же от любви к Марии осталось лишь уважение да размеренно возрождающееся желание. Он тосковал по той первой высокой страсти, невозвратно канувшей в прошлое, и не хотел верить, что моногамный брак, этот формальный институт, исчерпывает великое стремление человека к любви. Любовь! Полное слияние с другим существом, способным вместе с тобой ощутить, как прекрасна жизнь. Вместе смотреть на темные силуэты кораблей, входящих в бухту, следить, как сверкают огоньки среди бьющихся на ветру флагов, как старые рыбацки лодки пересекают бухту в направлении Касабланки, Реглы и Кабаньи или медленно подходят к берегу, до краев полные трепещущей рыбой. Видеть, как гуляют по набережной люди, катаются на велосипедах дети, слышать, как Пятая симфония Бетховена гремит прямо под открытым небом, под пальмами, кактусами и яркими тропическими звездами. Вздвигаться туда, где гордо высятся бессмертные средневековые замки, на чьих поросших мхом камнях ты тоже пишешь свои инициалы, и чувствовать царящий надо всем запах моря, всегда неразлучный с тоской...

Пришла последняя зима. Дарио не мог больше жить одними воспоминаниями. Касаясь руки Марии, он уже не чувствовал приближения таинства ночи — просто рядом была жена, заурядная, может быть, разочарованная женщина, которая молча глядела, как мучается Дарио, хмуро слоняясь по набережной.

Настало время вырваться из оков, восстать против фальшивых мещанских догм. «Как можно покинуть семейный очаг? Что скажут соседи?» Уйти от условностей, отбросить жалкое подобие любви, начать жить по-настоящему, стать до конца свободным, избавиться от притворства, от цепей прошлого. Дарио всем своим существом ощущал потребность свершить подвиг, он не соглашался ни на что другое. Оставаться верным своему понятию о чести, искать непрестанно, до самой смерти, чистый глубокий и прекрасный смысл жизни. По-новому понять себя, свое место в обществе, чтобы все богатство чувств, вся твоя революционная закалка,

твои порывы, желания и печаль — все сливалось в одно стремление — стать лучше. Но не в том было дело, чтоб пытаться воспитать из себя нечто идеальное, сегодняшнее воплощение лучших черт человека будущего. Нельзя предвидеть заранее, какие задачи может поставить перед тобой жизнь, и потому бессмысленно стремиться выработать архетип, образцовую модель нравственности. Она неизбежно превратится в идол, в божество. Просто надо уметь отвечать за себя в каждый данный момент. И в конце концов, Дарио не так уж стремился занять новое место в обществе, найти новую любовь, удовлетворить свою тайную жажду счастья. Единственное, чего он страстно желал, — это продолжать искать. Все это было не главным. Сбросить с себя налет сытого мещанского благополучия, не соглашаться, что все хорошо так, как оно есть, и что мораль революции не отличается от старой морали — вот что важно! Нет, Дарио не верил, что карьеристы, пролазы, честолюбцы, живущие за чужой счет, будут существовать вечно и потому якобы бесполезно бороться с ними, изгонять их из своих рядов, несмотря на все их уверения в лояльности. Он не боялся отбрасывать устаревшие догмы, ибо жизнь идет вперед и невозможно предусмотреть будущее во всех деталях. Зато Дарио боялся застоя, он знал, что застой неизбежно несет в себе загнивание, отчуждение, смерть. Люди, подобные Дарио — из такого уж странного теста они сделаны, — постоянно мыслят, постоянно формируют себя. Их не волнует ни собственная внешность, ни одежда, ни материальное положение. Они заботятся лишь о своих поступках, хотят разобраться в своих чувствах, понять причины тех и других. Они скучают в обычной жизни, которая многих устраивает, стремятся найти в себе еще и еще силы для борьбы за другую, лучшую жизнь.

И в эту последнюю зиму Дарио решил начать все сначала. Прежде всего — проверить себя, свою твердость. Сможет ли он порвать с Марней, остаться одиноким, отказаться от жизни, похожей на жизнь буржуев, против которых он боролся, покинуть удобную, спокойную службу, смотреть только в будущее, только ради него трудиться и жить? Аккуратно ходить каждый день на работу, делать без особого труда немного

больше, чем положено, выполнять свои супружеские обязанности, а по воскресеньям вечером сидеть в домашних туфлях перед телевизором, ощущая довольство от мысли, что ты примерный гражданин и всей душой революционер, — нет, ни за что! Надо наполнить жизнь высоким смыслом, испытать себя, закалить, научиться снова твердости и героизму и уже не сдаваться до конца!

И Дарио начал с того, что поехал рубить тростник.

*Иностранец задумался. Все это так странно, непривычно...*

— Что такое Куба, вы знаете, да? — спросил Дарио.

— Куба? Конечно, конечно. Остров... как это говорится? Малоразвитая страна. Рубят этот самый тростник, ручную. Как вы, Дарио. Атомной бомбы нет, в космос не летают... Пу-ну, извините. Я, кажется, кое-что понял.

— А вы? Откуда вы?

*Приезжий вытянул руку.*

— Оттуда, — сказал он.

*Но он мог бы указать куда угодно, назвать любую страну. Он был человеком из другого мира.*



## СОДЕРЖАНИЕ

УТРО . . . . .	15
ДЕНЬ . . . . .	65
ВЕЧЕР . . . . .	117

**М. КОССИО ВУДВОРД**

**Земля Сахария**

Художник *К. Сиротов*  
Художественный редактор *А. Купцов*  
Технический редактор *Р. Медведева*  
Корректор *В. Пестова*

Сдано в производство 21/VI 1973 г.  
Подписано к печати 18/ХII 1973 г.  
Бумага типографская № 2 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>, бум. л. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,  
Печ. л. 8,82. Уч.-изд. л. 7,92. Изд. № 15348  
Цена 40 коп. Заказ 696

Издательство „Прогресс“ Государственного  
комитета Совета Министров СССР по делам  
издательств, полиграфии и книжной торговли  
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени  
Ленинградская типография № 2  
имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома  
при Государственном комитете Совета  
Министров СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли  
198052, Ленинград, Л-52,  
Измайловский проспект, 29

